

32  
K78

# POST-DEMOCRACY

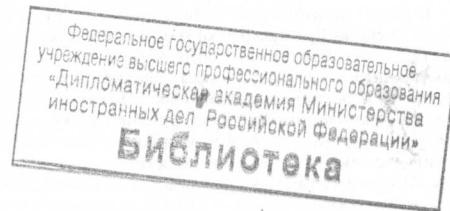
COLIN CROUCH

# ПОСТДЕМОКРАТИЯ

КОЛИН КРАУЧ

Перевод с английского  
НИКОЛАЯ ЭДЕЛЬМАНА

31545



Laterza  
ROMA-BARI, 2003



Издательский дом  
Государственного университета — Высшей школы экономики  
МОСКВА, 2010

УДК 316.334.3  
ББК 60.56  
К78

*Составитель серии и научный редактор*  
**ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ**  
*Дизайн серии*  
**ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ**

К78

**Крауч, К.**

Постдемократия [Текст]/пер. с англ. Н. В. Эдельмана; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2010. — 192 с. — (Политическая теория). — 1000 экз. — ISBN 978-5-7598-0740-7 (в пер.).

В своей нашумевшей в западной интеллектуальной и научной среде книге профессор социологии Йорикского университета (Великобритания) Колин Крауч утверждает, что упадок общественных классов, которые сделали возможной массовую политику, и распространение глобального капитализма привели к возникновению замкнутого политического класса, больше заинтересованного в создании связей с влиятельными бизнес-группами, чем в проведении политических программ, отвечающих интересам простых граждан. Он показывает, что в ряде отношений политика начала ХХI века возвращает нас к политике XIX столетия, которая определялась игрой, разыгрываемой между элитами. Тем не менее, по утверждению Крауча, опыт ХХ века по-прежнему остается значимым и сохраняет возможности для возрождения политики.

Книга предназначена политологам, историкам, философам и социологам.

УДК 316.334.3  
ББК 60.56

Published by arrangement with Marco Vigevani Agenzia Letteraria

ISBN 978-5-7598-0740-7 (рус.)  
ISBN 978-8-8420-7106-8 (англ.)

Copyright © 2005, Gius. Laterza & Figli, All rights reserved  
© Перевод на рус. яз., оформление. Издательский дом Государственного университета — Высшей школы экономики, 2010

## СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ . . . . .	7
ПРЕДИСЛОВИЕ . . . . .	11
I. ПОЧЕМУ ПОСТДЕМОКРАТИЯ? . . . . .	16
II. ГЛОБАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ: КЛЮЧЕВОЙ ИНСТИТУТ ПОСТДЕМОКРАТИЧЕСКОГО МИРА . . . . .	49
III. СОЦИАЛЬНЫЕ КЛАССЫ В ПОСТДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ . . . . .	74
IV. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ В УСЛОВИЯХ ПОСТДЕМОКРАТИИ . . . . .	93
V. ПОСТДЕМОКРАТИЯ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСТВА . . . . .	102
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: КУДА МЫ ДВИЖЕМСЯ? . . . . .	131
ЛИТЕРАТУРА . . . . .	155
ПРИЛОЖЕНИЯ	
Колин Крауч. Что последует за упадком приватизированного кейнсианства? . . . . .	161
Приватизированное кейнсианство, корпорации и демократия.	
Беседа Артема Смирнова с Колином Краучем . . .	186

## ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Первое издание «Постдемократии» увидело свет в Английской и итальянской версиях в 2004 году. С тех пор книга была переведена на испанский, хорватский, греческий, немецкий, японский и корейский языки. И я рад, что теперь она переведена еще и на русский язык, который полвека тому назад я учил в школе и который я всегда любил.

Не могу сказать, что моя книга где-то стала «бестселлером», но для того, кто обычно пишет академические книги, которые не привлекают внимания нигде, кроме академических журналов, непривычно, когда его книга удостаивается внимания средств массовой информации и политических commentators. Это касалось преимущественно немецкого, итальянского, английского и японского изданий. Это не стало для меня неожиданностью и казалось вполне объяснимым: идея постдемократии ориентирована на страны, где демократические институты глубоко укоренены, население, возможно, пресытилось ими, а элиты ловко научились ими манипулировать.

Под постдемократией понималась система, в которой политики все сильнее замыкались в своем собственном мире, поддерживая связь с обществом при помощи манипулятивных техник, основанных на рекламе и маркетинговых исследованиях, в то время как все формы, характерные для здоровых демократий,казалось, оставались на своем месте. Это было обусловлено несколькими причинами:

- Изменениями в классовой структуре постиндустриального общества, которые порождают множество профессиональных групп, которые, в отличие от промышленных рабочих, крестьян,

государственных служащих и мелких предпринимателей, так и не создали собственных автономных организаций для выражения своих политических интересов.

- Огромной концентрацией власти и богатства в многонациональных корпорациях, которые способны оказывать политическое влияние, не прибегая к участию в демократических процессах, хотя они и имеют огромные ресурсы для того, чтобы в случае необходимости попытаться манипулировать общественным мнением.
- И — под действием обеих этих сил — сближением политического класса с представителями корпораций и возникновением единой элиты, необычайно далекой от нужд простых людей, особенно принимая во внимание возрастающее в XXI веке неравенство.

Я не утверждал, что мы, жители сложившихся демократий и богатых постиндустриальных экономик Западной Европы и США, уже вступили в состояние постдемократии. Наши политические системы все еще способны порождать массовые движения, которые, опровергая красивые планы партийных стратегов и медиаконсультантов, тормошат политический класс и привлекают его внимание к своим проблемам. Феминистское и экологическое движение служат главными свидетельствами наличия такой способности. Я пытался предупредить, что, если не появится других групп, способных вдохнуть в систему новую жизнь и породить автономную массовую политику, мы придем к постдемократии.

Даже когда я говорил о грядущем постдемократическом обществе, я не имел в виду, что общества перестанут быть демократическими, иначе я бы говорил о недемократических, а не о постдемократических обществах. Я использовал приставку «пост-» точно так же, как она используется в словах «постиндустри-

альный» или «постсовременный». Постиндустриальные общества продолжают пользоваться всеми плодами индустриального производства; просто их экономическая энергия и инновации направлены теперь не на промышленные продукты, а на другие виды деятельности. Точно так же постдемократические общества и дальше будут сохранять все черты демократии: свободные выборы, конкурентные партии, свободные публичные дебаты, права человека, определенную прозрачность в деятельности государства. Но энергия и жизненная сила политики вернется туда, где она находилась в эпоху, предшествующую демократии, — к немногочисленной элите и состоятельным группам, концентрирующимся вокруг властных центров и стремящимся получить от них привилегии.

Поэтому я был несколько удивлен, когда моя книга была переведена на испанский, хорватский, греческий и корейский. Демократии в Испании всего четверть века от роду, и кажется, что она там вполне процветает и имеет страстных сторонников как из числа левых, так и из числа правых. То же, казалось, можно было сказать и о Греции с Кореей, хотя обе эти страны имели непростой опыт политической коррупции. Надо ли считать постдемократию реальным явлением в этих странах? С другой стороны, испаноязычные страны Южной Америки и Хорватия, казалось, имели не слишком большой опыт демократии. Если люди ощущали, что с их политическими системами что-то было не так, то были ли это проблемы постдемократии или же это были проблемы самой демократии?

Схожие вопросы возникают и в связи с русским изданием. Разворачиваются ли в этих новых демократиях острые политические конфликты с широким участием масс, которые ограничиваются необходимостью не выходить за пределы демократии? Или они уже перешли к состоянию, когда единая политико-экономическая элита устранилась от активного взаи-

модействия с народом? Русским демократам всегда было сложно бороться с теми, кто обладал огромным богатством и властью, — царской аристократией, аппаратчиками советской эпохи или современными олигархами. Значит ли это, что страна скатится к постдемократии, так и не узнав, что такое настоящая демократия? Или демократия все еще переживает становление, а борьба между ней и старым режимом далека от завершения? Сочтут ли российские читатели мою небольшую книгу чем-то, что имеет отношение к их собственному обществу, или они увидят в ней повествование о проблемах политических систем Запада?

Колин Крауч

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга постепенно выросла из различных тревожных размышлений. К концу 1990-х в большинстве промышленно развитых стран стало ясно, что, какая бы партия ни находилась у власти, на нее постоянно будет оказываться давление со вполне определенной целью: проведения государственной политики в интересах богатых, то есть тех, кто выигрывает от ничем не ограниченной капиталистической экономики, а не тех, кто нуждается в некоторой защите от нее. Приход к власти левоцентристских партий почти во всех странах — членах Европейского Союза, который, как тогда казалось, открывал беспрецедентные возможности, не привел к сколько-нибудь значительным переменам к лучшему. Меня, как социолога, не устраивали объяснения этого со ссылками на измельчание политиков. Дело было в структурных силах: в политике не появилось ничего, что могло бы заменить собой тот вызов, который на протяжении XX века бросал интересам богатых и привилегированных организованный рабочий класс. Численное сокращение этого класса означало возвращение политики к некоему подобию того, чем она всегда была: чему-то, что служило интересам различных привилегированных слоев.

Примерно в это время Эндрю Гэмбл и Тони Райт попросили меня написать главу для книги о «новой социал-демократии», которую они готовили для журнала *The Political Quarterly* и Фабианского общества. Так что я развил эти мрачные мысли в статье «Парабола политики рабочего класса» (*Crouch C. The Parabola of Working Class Politics // Gamble A., Wright T. (eds.). The New Social Democracy. Oxford: Blackwell, 1999. P.69–83*). Третья глава настоящей книги представляет собой расширенную версию этой статьи.

Как и многих других, в конце 1990-х меня также не устраивал характер нового политического класса, который сложился вокруг правительства новых лейбористов в Великобритании. На смену старым руководящим кругам в партии стали приходить пересекающиеся сети всевозможных советников, консультантов и лоббистов, представлявшие интересы корпораций, которые искали расположения со стороны правительства. Этот феномен ни в коей мере не ограничивался новыми лейбористами или Великобританией, но проявился в них наиболее ярко, потому что старое руководство Лейбористской партии в начале 1980-х было дискредитировано настолько, что на него уже можно было не обращать внимания.

Многое из того, что известно мне об устройстве политической жизни и ее связях с остальным обществом, я узнал от Александро Пиццорно, и когда Донателла Делла Порта, Маргарет Греко и Арпад Саколцай попросили меня написать для юбилейного сборника, который они готовили для Сандро, я воспользовался этой возможностью, чтобы развить эти мысли более строго. Получившаяся в результате статья (*Crouch C. Inrorno ai partiti e ai movimenti, militanti, iscritti, professionisti e il mercato // Porta D. D., Greco M., Szakolczai A. (eds.). Identità, riconoscimenti scambio: Saggi in onore di Alessandro Pizzorno. Rome: Laterza, 2000. P.135–150*) с некоторыми изменениями включена в виде главы IV в настоящую книгу.

Эти две различные темы — вакуум слева в массовом политическом участии из-за упадка рабочего класса и рост политического класса, связанного с остальным обществом по большей части только через деловые лобби, — явно были взаимосвязаны. Они также помогли объяснить то, что все большее число наблюдателей стало считать тревожными признаками слабости западных демократий. Возможно, мы вступали в эпоху постдемократии. Тогда я поинтересовался у Фабианского общества, не было бы им любопытно

обсудить этот феномен. Я разработал понятие постдемократии, прибавил обсуждение того, что казалось мне ключевым институтом, стоящим за этими переменами (глобальная компания), и некоторые идеи относительно того, как обеспокоенным гражданам следует ответить на эти трудности (краткие версии глав I, II и VI). Все это вылилось в брошюру «Как совладать с постдемократией» (*Crouch C. Coping with Post-Democracy. Fabian Ideas 598. London: The Fabian Society, 2000*).

Эта небольшая работа привлекла определенное внимание и попала на глаза Джузеппе Латерца и его одноименного издательства. Ему захотелось опубликовать итальянскую версию этой работы в серии небольших книг по ключевым социальным и политическим вопросам, но он заметил, что готовая брошюра была адресована преимущественно британской читательской аудитории. Поэтому при написании своей новой книги (*Crouch C. Postdemocrazia. Rome: Laterza, 2003*) я решил обратиться к более широкому европейскому контексту, дополнив ее конкретными примерами.

И пока я занимался этим, меня заинтересовала новая тема: коммерциализация образования и других общественных услуг, которая происходила в Великобритании и многих других странах. Моя жена была тогда высокопоставленным чиновником в сфере образования в одном из британских графств. Я видел, как центральное правительство оказывало все более сильное давление на нее и на ее коллег по всей стране, требуя передачи части полномочий и школ частным компаниям и изменения самого понимания и устройства общеобразовательной системы, чтобы ее легко можно было передать таким компаниям и чтобы ею заведовали частные компании, а не государственные ведомства. По схожему сценарию развивались события и в системе здравоохранения и других сферах государства всеобщего благосостояния. Это вызывало

серьезные вопросы относительно идеи гражданства в государстве всеобщего благосостояния. Общие вопросы и конкретные факты, связанные с системой образования, были рассмотрены мной в еще одной брошюре Фабианского общества (*Crouch C. Commercialization or Citizenship: Education Policy and the Future of Public Services. Fabian Ideas 606. London: The Fabian Society, 2003*).

И хотя речь здесь шла о будущем государства всеобщего благосостояния, эти вопросы также были важны для обсуждения проблем демократии. Рост политического влияния глобальных компаний, вакуум слева вследствие упадка рабочего класса и то, как новый политический класс политических консультантов и лоббистов от бизнеса заполнял этот вакуум, помогали объяснить, почему социальная политика государства становилась все более одержимой идеей передачи работы частным подрядчикам. Эти споры также были частью споров о постдемократии и даже служили важным примером практических следствий постдемократии. Поэтому я включил основные общие рассуждения из своей брошюры «Коммерциализация или гражданство» в текст итальянского издания «Постдемократии».

Затем появилась возможность снова опубликовать этот расширенный текст брошюры о постдемократии по-английски в издательстве *Polity*, включив в него еще несколько дополнений, которые учитывали рекомендации рецензентов из издательства и результаты обсуждения итальянского издания. По утверждению некоторых комментаторов, в том числе Джулиано Амато и Микеле Сальвати, в своей книге я говорил не о столько о проблемах демократии как таковой, сколько о проблемах социал-демократии. Ральф Дарендорф сделал схожее замечание, сказав, что я выступал с позиций эгалитарной, а не либеральной демократии. Я бы с этим поспорил. Когда в государствах со всеобщим гражданством избиратели оказываются

ся оторванными от участия в общественной жизни и пассивно позволяют немногочисленным элитам ограничивать свое политическое участие, это представляет проблему для всех форм серьезной и принципиальной политики. В частности, то, что в экономическую политику правительства вмешиваются различные лобби, обладающие привилегированным политическим доступом к нему, заполняя тот вакuum, который возникает вследствие этой пассивности, и разлагая рынки, в которые так верят неолибералы, должно волновать последних не меньше, чем социал-демократов.

## I. Почему постдемократия?

**В** начале XXI века демократия оказалась в параллельном положении. С одной стороны, можно сказать, что она переживает свой всемирно-исторический расцвет. В последнюю четверть века сначала Иберийский полуостров, а затем — и это особенно впечатляет — значительные части советской империи, Южная Африка, Южная Корея и некоторые страны Юго-Восточной Азии и, наконец, Латинской Америки по крайней мере формально перешли к более или менее свободным и честным выборам. И государства, которые в настоящее время имеют подобные демократические механизмы, больше, чем когда-либо прежде. По данным исследовательского проекта под руководством Филиппа Шмиттера, посвященного изучению демократии в мире, количество стран, в которых проводятся сравнительно свободные выборы, выросло со 147 в 1988 году (накануне краха советской системы) до 164 в 1995 году и 191 в 1999 году (Шмиттер, личная беседа, октябрь 2002 года; см. также: Schmitter and Brouwer, 1999). Если использовать более строгое определение полноценных и свободных выборов, результаты оказываются более двусмысленными: бесспорный спад с 65 до 43 в период с 1988 по 1995 год, а затем рост до 88 случаев.

Между тем в сложившихся демократиях Западной Европы, Японии, Соединенных Штатах и других стран промышленно-развитого мира, где для оценки его здоровья должны использоваться более тонкие индикаторы, положение выглядит не столь оптимистично.

Достаточно вспомнить президентские выборы 2000 года в Соединенных Штатах, где имелись почти неопровергимые свидетельства серьезных подтасо-

вок результатов голосования во Флориде, приведшие к победе Джорджа Буша-младшего, брата губернатора штата. Помимо немногочисленных демонстраций чернокожих американцев, мало кто выразил недовольство фальсификацией демократического процесса. Многие, по-видимому, считали, что достижение результата — не важно, какого — было необходимо для восстановления уверенности на фондовой бирже и что это было важнее установления того, каким было действительное решение большинства.

Или возьмем, например, недавний доклад, представленный Трехсторонней комиссии — элитарному органу, который сводит вместе ученых из Западной Европы, Японии и США: в нем был сделан вывод, что с демократией в этих странах не все так гладко, как может показаться на первый взгляд (Pharr and Putnam, 2000). Авторы рассматривали проблему преимущественно с точки зрения снижения способности политиков совершать решительные действия вследствие того, что их легитимность оказывалась все более сомнительной из-за снижения явки избирателей. Эта довольно элитаристская позиция не позволила им прийти к выводу, что наличие политиков, не пользующихся большим доверием у общества, также может свидетельствовать о проблемах самого общества. Наоборот, по замечанию Патнэма, Фарра и Далтона (Putnam, Pharr and Dalton, 2000), растущая неудовлетворенность общества политикой и политиками может считаться свидетельством здоровья демократии: политически зрелое, требовательное общество ждет от своих нынешних лидеров большего, чем от их почтенных предшественников. Мы еще не раз вернемся в этому важному замечанию.

Демократия процветает тогда, когда простые люди имеют возможности для активного участия — посредством обсуждения и автономных организаций — в формировании повестки дня общественной жизни и когда они активно используют такие возможности. Конечно,

нельзя ожидать, что большинство будет самым живым образом участвовать в серьезном политическом обсуждении и формировании повестки дня, а не просто выступать в качестве пассивных респондентов при проведении опросов общественного мнения и осознанно действовать в последующих политических событиях и действиях. Это идеальная модель, которой почти никогда невозможно достичь в полной мере, но, как и все недостижимые идеалы, она задает ориентир. Всегда ценно и полезно рассмотреть, насколько наше поведение соотносится с идеалом, поскольку так мы можем попытаться его улучшить. Нам важно принять именно этот подход к демократии, а не более общий, который обтесывает идеал таким образом, чтобы он соответствовал тому, чего мы легко можем достичь. Последний подход ограничивается удовлетворенностью, самовосхвалением и нежеланием рассматривать то, как происходит ослабление демократии.

Вспомним работы американских политических ученых 1950-х — начала 1960-х годов, которые строили свое определение демократии так, чтобы оно соответствовало действительной практике в США и Британии, не учитывая изъяны в политическом устройстве этих двух стран (см., например: Almond and Verba, 1963). Это была идеология времен холодной войны, а не научный анализ. Схожий подход доминирует и в современной мысли. Под влиянием Соединенных Штатов демократия вновь все чаще определяется как либеральная демократия — исторически обусловленная форма, а не нормативный идеал (критику такого подхода см.: Даль, 2003; Schmitter, 2002). Здесь главной формой массового участия оказывается участие в выборах, широкая свобода для лоббистской деятельности, которой занимаются в основном бизнес-лобби, а политическая власть избегает вмешательства в капиталистическую экономику. Этую модель не слишком интересует широкое участие граждан или роль организаций, не связанных с бизнесом.

Согласие со скромными ожиданиями от либеральной демократии приводит к удовлетворенности тем, что я называю постдемократией. При этой модели, несмотря на проведение выборов и возможность смены правительства, публичные предвыборные дебаты представляют собой тщательно срежиссированный спектакль, управляемый соперничающими командами профессионалов, которые владеют техниками убеждения, и ограниченный небольшим кругом проблем, отобранных этими командами. Масса граждан играет пассивную, молчаливую, даже апатичную роль, откликаясь лишь на посылаемые им сигналы. За этим спектаклем электоральной игры разворачивается непубличная реальная политика, которая опирается на взаимодействие между избранными правительствами и элитами, представленными преимущественно деловыми кругами. Эта модель, как и максимальный идеал, также является преувеличением, но в современной политике достаточно элементов, которые позволяют поднять вопрос о том, какое положение на шкале между ней и максимальной демократической моделью занимает политическая жизнь наших стран, а также определить, в каком направлении она движется. Я утверждаю, что нас все сильнее сносит в сторону постдемократического полюса.

Если я прав, то выделенные мной причины такого движения помогают объяснить кое-что еще и представляют особый интерес для социал-демократов и всех, кого волнуют вопросы политического равенства и кому, собственно, и адресована эта работа. В условиях постдемократии, когда власть все чаще оказывается в руках деловых лобби, нет веских оснований рассчитывать на сильную эгалитарную политику перераспределения власти и богатства или на ограничения влиятельных заинтересованных групп.

И если в этом отношении политика становится постдемократической, то левым предстоит пережить трансформацию, которая, по-видимому, полностью

сведет на нет их достижения в XX веке. Тогда левые боролись — иногда в условиях постепенного и преимущественно мирного прогресса, а иногда в условиях насилия и репрессий — за признание голосов простых людей в жизни страны. Не происходит ли повторного подавления этих голосов, когда экономически влиятельные группы продолжают использовать свои инструменты влияния, а инструменты демоса ослабеваются? Это не означает возврата к началу XX столетия, потому что, несмотря на движение в противоположном направлении, мы находимся в иной точке исторического времени и обременены наследием нашего недавнего прошлого. Скорее, демократия описала параболу. Когда вы рисуете траекторию параболы, карандаш проходит одну из координат дважды: сначала поднимаясь к вершине параболы, а затем еще раз в другой точке на спуске. Этот образ сыграет важную роль в том, что будет сказано ниже о сложных чертах постдемократии.

В другом месте (Crouch, 1999b), как ранее было сказано в предисловии, я уже писал о «параболе политики рабочего класса», сосредоточившись на опыте британского рабочего класса. Я вспоминал, что в XX веке этот класс поначалу был слабым и отлученным от политики, но постепенно становился все более многочисленным и сильным, готовясь войти в политическую жизнь, затем ненадолго, во времена формирования государства всеобщего благосостояния, кейнсианского управления спросом и институционализированных трудовых отношений, он занял центральное положение и, наконец, по мере сокращения своей численности, дезорганизации и маргинализации в политической жизни лишился своих завоеваний середины XX столетия. Эта парабола лучше всего видна на примере Британии и, возможно, Австралии: политическое влияние рабочего класса росло постепенно, а падение его было особенно резким. В других странах, где влияние также постепенно рос-

ло и ширилось — особенно в Скандинавии, — спад был куда менее значительным. Североамериканский рабочий класс добился менее впечатляющих успехов перед еще более глубоким спадом. За некоторыми исключениями (скажем, Нидерландов или Швейцарии), в большинстве стран Западной Европы и в Японии предшествующая история была гораздо более сложной и отмеченной насилием. Страны Центральной и Восточной Европы имели совершенно иную траекторию, обусловленную искаженной и извращенной формой, связанной с подчинением движений рабочего класса коммунистическим режимам.

Ослабление политического влияния рабочего класса было лишь одним, хотя и очень важным аспектом параболического опыта самой демократии. Две проблемы — кризис эгалитарной политики и тривиализация демократии — не обязательно должны быть тождественными. Сторонники равенства могут говорить, что им неважно, насколько правительство манипулирует демократией, пока богатство и власть в обществе распределяются более равномерно. Консервативный демократ заметит, что повышение качества политических дебатов не обязательно ведет к более перераспределительной политике. Но в некоторых важных пунктах эти проблемы пересекаются, и именно на этом пересечении я и собираюсь сосредоточить свое внимание. Я полагаю, что, несмотря на сохранение форм демократии (и даже их несомненное усиление сегодня в некоторых отношениях), политика и правительство все чаще оказываются под контролем привилегированных элит, как это было в до-демократические времена, и что одним из важных следствий этого процесса является ослабление эгалитаризма. Поэтому винить в болезнях демократии средства массовой информации и рост влияния политтехнологов — значит не замечать куда более глубоких процессов, которые разворачиваются на наших глазах.

## ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ

Ближе всего к демократии в моем максимальном ее понимании общества были в первые годы после ее захвата или кризиса режимов, когда восторженное отношение к демократии было широко распространено, когда множество различных групп и организаций простых людей сообща стремились выработать политическую программу, отвечающую тому, что их волновало, когда влиятельные группы, которые доминировали в недемократических обществах, находились в уязвимом положении и вынуждены были обороняться, и когда политическая система еще не вполне разобралась с тем, как управлять и манипулировать новыми требованиями. Народные политические движения и партии вполне могли находиться во власти руководителей, персональный стиль которых был далек от демократического идеала, но они по крайней мере подвергались активному давлению со стороны массового движения, которое, в свою очередь, представляло некоторые устремления простых людей.

В большинстве стран Западной Европы и в Северной Америке демократический момент наступил в середине XX столетия: незадолго до Второй мировой войны — в Северной Америке и Скандинавии, вскоре после нее — во многих остальных странах. К этому времени последние крупные антидемократические движения — фашизм и нацизм — потерпели поражение в мировой войне, а политические перемены происходили одновременно с серьезным экономическим ростом, который сделал возможным осуществление многих демократических целей. Впервые в истории капитализма общее здоровье экономики стало зависеть от процветания массы наемных работников. Наиболее ярким проявлением этого стала экономическая политика, связанная с кейнсианством, а также логика цикла массового производства и массового потребления, воплощенная в так называемых «фор-

дистских» методах производства. В этих промышленно развитых обществах, которые не стали коммунистическими, между капиталистами и рабочими был достигнут определенный социальный компромисс. Взамен на выживание капиталистической системы и общее успокоение протesta против неравенства, рожденного этой системой, бизнес научился соглашаться с определенными ограничениями на способность использовать свою власть. А демократическая политическая власть, сосредоточенная в национальном государстве, способна была гарантировать эти ограничения, поскольку фирмы в основном подчинялись власти национальных государств.

В своем наиболее чистом виде такая форма развития проявилась в Скандинавии, Нидерландах и Великобритании. В других странах имелись важные различия. Хотя Соединенные Штаты начинали крупные социальные реформы 1930-х вместе со Скандинавией, общая слабость рабочего движения в этой стране привела к постепенному ослаблению первоначальных достижений в социальной политике и трудовых отношениях в 1950-х, несмотря на то что кейнсианский подход в экономической политике сохранялся вплоть до 1980-х; лежащее в основе демократии массового производства массовое потребление американской экономики продолжает воспроизводиться. Западногерманское государство, напротив, не занималось кейнсианским управлением спроса до конца 1960-х, но при этом имело хорошо институционализированные отношения между трудом и бизнесом и в конце концов — сильное государство всеобщего благосостояния. Во Франции и Италии этот процесс был менее выраженным. Имел место неоднозначное сочетание уступок требованиям рабочего класса для ослабления привлекательности коммунизма, с неприятием прямого представительства интересов рабочих отчасти из-за того, что на роль таких представителей претендовали коммунистические партии

и профсоюзы. Испания и Португалия перешли к демократии только в 1970-х — как раз тогда, когда условия, которые обеспечивали сохранение послевоенной модели, начали исчезать, а греческая демократия была прервана гражданской войной и несколькими годами военной диктатуры.

Высокий уровень широкого политического участия конца 1940-х — начала 1950-х в некоторой степени был результатом необычайно важной общей задачи послевоенной реконструкции, а в некоторых странах интенсивная общественная жизнь сохранялась и в военные годы. Нельзя было рассчитывать, что это продлится долго. Скоро элиты научились управлять и манипулировать. Народ разочаровался, заскучал или занялся частной жизнью. Растущая сложность проблем после первых серьезных реформаторских достижений серьезно затруднила занятие сведущих позиций, продуманных комментариев, и в конце концов даже минимальное действие в виде голосования столкнулось с противодействием апатии. Тем не менее основные демократические задачи экономики, зависевшие от цикла массового производства и массового потребления, которое поддерживалось государственными расходами, оставались основной движущей силой политики с середины столетия и до 1970-х годов.

Нефтяной кризис 1970-х проверил на прочность способность кейнсианской системы управлять инфляцией. Возникновение экономики обслуживания ослабило роль промышленных рабочих в поддержании цикла производства/потребления. Последствия этого были заметно отсрочены в Западной Германии, Австрии, Японии и до некоторой степени в Италии, где рост промышленного производства и занятости на производстве не прекращался. В Испании, Португалии и Греции, где рабочий класс только начал набирать политическое влияние, которым его северные собратья обладали уже на протяжении нескольких десятилетий, дело обстояло совершенно иначе. Это

## I. Почему постдемократия?

стало возможным в краткий период, когда социал-демократия словно отправилась на летний отдых: скандинавские страны, долгое время находившиеся под ее властью, сдвинулись вправо, а в правительствах средиземноморских стран левые партии начали играть заметную роль. Но перерыв не был долгим. Хотя эти южные правительства добились заметных успехов в расширении прежде крайне ограниченных социальных государств в своих странах (Maravall, 1997), социал-демократии в этих странах укорениться так и не удалось. Влияние рабочего класса было гораздо слабее, чем во времена промышленного расцвета.

В Италии, Греции и Испании дела обстояли еще хуже: правительства этих стран погрязли в скандальной политической коррупции. К концу 1990-х стало ясно, что коррупция ни в коей мере не ограничивается левыми партиями или странами Южной Европы и что она стала распространенной чертой политической жизни (Della Porta, 2000; Della Porta and Meny, 1995; Della Porta and Vannucci, 1999). Коррупция служит важным показателем того, что демократия большна, что политический класс стал циничным, аморальным и огражденным от надзора и общества. Печальный урок, который преподали нам страны Южной Европы, а вслед за ними и Бельгия, Франция, отчасти Германия и Великобритания, заключался в том, что левые партии ни в коей мере не свободны от феномена, который должен быть анафемой для их движений и партий.

К концу 1980-х глобальное deregулирование финансовых рынков сместило акцент экономического развития с массового потребления на фондовую биржу. Сначала в США и Британии, а вскоре и в других странах максимизация акционерной стоимости стала главным показателем экономического успеха (Dore, 2000); споры о более широкой акционерной экономике стали очень тихими. Везде доля дохода, получаемого трудом, а не капиталом, которая постепенно росла

на протяжении десятилетий, вновь начала падать. Демократическая экономика ослабла вместе с демократическим государством. Соединенные Штаты продолжали пользоваться своей репутацией образцовой демократии для всего мира, а к началу 1990-х снова, как и в послевоенные годы, стали безусловным образцом для всех, кто жаждал динамичного развития и современности. Однако общественная модель, предлагаемая теперь Соединенными Штатами, заметно отличается от той, что была прежде. Тогда для большинства европейцев и японцев они предлагали творческий компромисс между сильным капитализмом и богатыми элитами, с одной стороны, и эгалитарными ценностями, сильными профсоюзами и социальной политикой «Нового курса» — с другой. Европейские консерваторы по большей части были убеждены в том, что между ними и массами игра с положительной суммой невозможна, и это убеждение привело многих из них к поддержке фашистского и нацистского гнета и террора в межвоенный период. Когда эти подходы к вызовам со стороны народа потерпели крах во время войны и покрыли себя позором, элиты с большим воодушевлением обратились к американскому компромиссу, основанному на массовом производстве. Именно этот путь, а также его военные достижения во время войны позволили Соединенным Штатам с полным правом притязать на роль главного защитника демократии в мире.

Но в рейгановскую эпоху Соединенные Штаты глубоко изменились. Их социальная система начала работать по остаточному принципу, профсоюзы оказались маргинализированными, а разрыв между богатыми и бедными начал напоминать неравенство, существующее в странах третьего мира, полностью перевернув привычную историческую связь между модернизацией и сокращением неравенства. Этот американский пример элиты всего мира, включая элиты стран, освободившихся от коммунизма, могли

## I. Почему постдемократия?

принять с распластанными объятьями. В то же самое время американские представления о демократии все чаще связывались с ограниченным правительством в неограниченной капиталистической экономике и сводили демократическую составляющую к проведению выборов.

### ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ КРИЗИС? КАКОЙ КРИЗИС?

Принимая во внимание сложность поддержания некоего подобия максимальной демократии, закат демократических моментов следует считать неизбежным, исключая важные новые моменты кризиса и изменения, которые делают возможным новое участие или, что более реалистично в обществе со всеобщим правом голоса, появление новых идентичностей в существующих рамках, которые меняют форму народного участия. Как мы увидим, эти возможности появляются и имеют большое значение. Но в долгосрочной перспективе нам следует ожидать энтропии демократии. В таком случае важно понять действующие здесь силы и приспособить наш подход к соответствующему политическому участию. Эгалитаристы не могут помешать наступлению постдемократии, но мы должны научиться работать с ней, смягчая, совершенствуя и иногда бросая ей вызов, а не просто принимая ее.

Ниже я попытаюсь рассмотреть некоторые глубинные причины этого явления, а также задамся вопросом, что мы можем с этим сделать. Но прежде мы должны внимательнее рассмотреть сомнения, которые могут сохраняться у многих относительно моего исходного тезиса, что состояние нашей демократии оставляет желать лучшего.

Могут сказать, что демократия переживает сегодня один из своих самых блестящих периодов. Речь идет не только о распространении выборных правительств

во всем мире, но и о том, что в так называемых развитых странах политики все реже пользуются почтением и некритическим уважением публики и СМИ, чем прежде. Правительство и его секреты все чаще обнажаются перед демократическим взором. Постоянно раздаются призывы к все более открытому правительству и к конституционным реформам, которые должны сделать правительства более ответственными перед народом. Конечно, мы живем сегодня в более демократическую эпоху, чем во время «демократического момента» третьей четверти XX столетия. Политики тогда незаслуженно пользовались доверием и уважением наивных и почтительных избирателей. То, что, с одной стороны, кажется манипулированием общественным мнением сегодняшними политиками, с другой стороны, можно считать заботой политиков о взглядах чутких и сложных избирателей, что заставляет этих политиков тратить немалые средства на выяснение того, что же думают избиратели, а затем возбужденно на это реагировать. Конечно, политики сегодня озабочены формированием политической повестки больше, чем их предшественники, предпочитая опираться на маркетинговые исследования и опросы общественного мнения.

Это оптимистическое представление о нынешней демократии ничего не говорит о фундаментальной проблеме власти корпоративных элит. И эта тема станет главной в следующих частях настоящей работы. Но существует также важное различие между двумя представлениями об активном демократическом гражданине, которые в оптимистических дискуссиях оставляются без внимания. По первому представлению имеется позитивное гражданство, когда группы и организации сообща создают коллективные идентичности, осознают интересы этих идентичностей и самостоятельно формулируют требования, основанные на них, которые они предъявляют политической системе. По второму — негативный активизм

обвинений и недовольства, когда главной целью политики оказывается призыв политиков к ответу, когда их голову кладут на эшафот, а их публичный образ и частное поведение подвергаются тщательному изучению. Этому различию прекрасно соответствуют две различных концепции прав граждан. Позитивные права делают акцент на возможности участия граждан в жизни своего политического сообщества: право голоса, создания и членства в организациях, получения достоверной информации. Негативные права — это права, которые защищают индивида от других, особенно от государства: права на защиту в суде, права на собственность.

Демократия нуждается в обоих этих подходах к гражданству, но в настоящее время все большую роль играет негативная составляющая. Это вызывает особое беспокойство, потому что именно позитивное гражданство отвечает за созидательность демократии. С пассивным подходом к демократии негативную модель, при всей ее агрессии против правящего класса, объединяет идея, что политика, по сути, является делом элит, которых недовольные наблюдатели обвиняют и стыдят, обнаруживая, что те допустили какую-то провинность. Парадоксальным образом всякий раз, когда мы думаем, что какой-то провал или катастрофа разрешаются, когда неудачливый министр или чиновник вынужден уйти в отставку, мы играем на руку модели, которая считает правительство и политику делом небольших групп элиты, принимающей решения.

Наконец, могут задать вопрос о силе движения к «открытым правительству», прозрачности и открытости для расследований и критики, что можно было бы считать важным политическим достижением неолиберализма за последнюю четверть XX столетия, если бы эти шаги не сопровождались мерами по усилению государственной безопасности и секретности. Можно привести немало соответствующих примеров.

Во многих странах происходит ощутимый рост преступности и насилия и страха перед иммиграцией людей из бедных стран в богатые и перед иностранцами вообще. Все это достигло своей наивысшей символической точки в убийственных и самоубийственных ударах исламских террористов по Соединенным Штатам 11 сентября 2001 года. С тех пор Соединенные Штаты и Европа получили как новые оправдания для государственной секретности и отказа в праве надзора за действиями государства, так и новые полномочия для слежки за своим населением и вторжения в частную жизнь своих граждан. Вполне вероятно, что в последующие годы многие достижения в прозрачности правительства 1980–1990-х годов будут свернуты: останутся лишь те, что отвечают глобальным финансовым интересам.

### АЛЬТЕРНАТИВЫ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Другое свидетельство, опровергающее мой тезис об ослаблении демократии, происходит из оживленного мира различных групп давления, которые становятся все более влиятельными. Не служат ли они олицетворением здорового позитивного гражданства? Существует опасность чрезмерной сосредоточенности на политике в узком партийном и электоральном смысле и незамечания ухода творческого гражданства с этой арены на более широкую арену гражданских групп. Можно сказать, что организации в защиту прав человека, бездомных, третьего мира, окружающей среды и не только создают гораздо более широкую демократию, потому что они позволяют нам выбрать четко определенную область, тогда как партийная работа требует от нас поддержки общей программы. Кроме того, спектр возможностей для деятельности оказывается гораздо шире простого содействия избранию политиков. А современные средства коммуникации вро-

### I. Почему постдемократия?

де Интернета облегчают и удешевляют организацию и координацию деятельности новых групп.

Этот аргумент звучит весьма убедительно. Не то чтобы я был с ним полностью не согласен — и в нем, как мы увидим в последней главе, можно найти некоторые ответы на наши нынешние трудности. Но он также выявляет некоторые слабые места. Нам нужно прежде всего провести различие между теми видами гражданской активности, которые преследуют, по сути, политическую программу, стремясь добиться действий, принятия законов или совершения расходов со стороны государственных властей, и тем, что решают задачи напрямую и пренебрегают политикой. (Конечно, некоторые группы в первой категории также могут заниматься прямым решением задач, но здесь это не главное.)

В последнее время выросло число гражданских групп, которые открыто выступают против политического участия. Отчасти это отражает нездоровье самой демократии и распространенное циничное отношение к ее способностям. Особенно это касается Соединенных Штатов, где недовольство левых монополизацией политики со стороны крупного бизнеса сливаются с правым неприятием сильного правительства в превознесении неполитической гражданской добродетели. Вспомним необычайную популярность среди американских либералов книги Роберта Патнэма «Чтобы демократия сработала» (Патнэм, 1996). В ней представлено довольно идеализированное описание того, как в различных частях Италии на уровне сообществ безо всякого участия государства сложились сильные нормы и практики сотрудничества и доверия. Итальянские критики отмечали, что Патнэм игнорировал фундаментальную роль локальной политики в поддержании этой модели (Bagnasco, 1999; Piselli, 1999; Trigilia, 1999).

В Великобритании также появилось множество самых различных групп взаимопомощи, сообществ,

схем присмотра за районами и благотворительной деятельности, отчаянно пытающихся заполнить недостаток заботы и ухода со стороны слабеющего государства всеобщего благосостояния. Большинство этих видов деятельности представляют большой интерес и ценность и заслуживают всяческого одобрения. Но именно из-за того, что они отворачиваются от политики, их нельзя назвать признаком здоровья демократии, которая по определению является политической. И такая деятельность вполне может процветать в недемократических обществах, в которых политическое участие либо опасно, либо невозможно и в которых государство, как правило, остается безразличным к социальным проблемам.

Сложнее обстоит дело со вторым типом организаций — политически ориентированными кампаниями и лобби, которые хотя и не стремятся оказывать прямое влияние или завоевывать голоса, но все же оказывают непосредственное влияние на государственную политику. Подобные формы жизни свидетельствуют о сильном либеральном обществе, но это не то же самое, что сильная демократия. Поскольку мы так привыкли к идее либеральной демократии, мы сегодня склонны не замечать того, что здесь действуют два отдельных элемента. Демократия требует примерного равенства всех граждан в их реальной способности влиять на политические результаты. Либерализм требует свободных, широких и разнообразных возможностей для того, чтобы влиять на такие результаты. Это связанные и взаимозависимые условия. Разумеется, максимальная демократия не может процветать без сильного либерализма. Но это две разные вещи, и иногда между ними даже возникают противоречия.

Это различие прекрасно понимали буржуазно-либеральные круги XIX столетия, которые очень остро сознавали наличие противоречия: чем сильнее акцент на равенстве политических возможностей, тем выше

## I. Почему постдемократия?

вероятность появления правил и ограничений, направленных на сокращение неравенства и угрожающих акценту либерализма на свободе и многообразии форм деятельности.

Приведем простой и важный пример. Если не вводить никаких ограничений на средства, которые партии и их друзья могут использовать для своего движения, и на виды медиаресурсов и рекламы, которые могут быть куплены, тогда партии, пользующиеся поддержкой богатых, будут иметь значительные преимущества на выборах. Такой режим поощряет либерализм, но ограничивает демократию, так как здесь отсутствует единое пространство соперничества, которого требует критерий равенства. Именно так обстоят дела в американской политике. И наоборот, государственное финансирование партий, ограничение расходов на избирательные кампании, правила, касающиеся приобретения времени на телевидении в политических целях, позволяют обеспечить примерное равенство и, следовательно, содействуют демократии, но за счет ограничения свободы.

Мир политически активных групп, движений и лобби принадлежит либеральной, а не демократической политике, и в нем немного правил, ограничивающих возможности влияния. Разные группы имеют совершенно разные ресурсы. Лобби, представляющие интересы бизнеса, всегда обладают серьезными преимуществами по двум различным причинам. Во-первых, как убедительно показал Линдблом (Линдблом, 2005), разочаровавшийся в американской модели сторонник плюрализма, бизнес-группы способны угрожать, что, если правительство к ним не прислушается, их сектор не будет успешным, а это, в свою очередь, поставит под угрозу главный предмет заботы правительства — его экономические успехи. Во-вторых, они могут привлекать огромные средства для своей лоббистской деятельности не просто потому, что они богаты, а потому, что успехи в лоббист-

ской деятельности приносят бизнесу огромную прибыль: затраты на лоббирование — это инвестиции. Не связанные с бизнесом группы редко могут выступать за что-то настолько значительное, что может повредить экономическому успеху, и успех их лоббистской деятельности не принесет материальной выгоды (они же не преследуют интересов, связанных с бизнесом), поэтому их затраты представляют собой расходы, а не инвестиции.

Те, кто утверждают, что могут добиться, скажем, здорового питания путем создания специальных групп для лоббирования правительства, минуя электоральную политику, должны помнить, что пищевая и химическая промышленности выведут против их утлыx шлюпок настоящие броненосцы. Конечно, подлинный либерализм позволяет всем группам, плохим и хорошим, пытаться оказывать политическое влияние и предоставляет богатые возможности для публичного участия в политике. Но если его не будет уравновешивать здоровая демократия в строгом смысле слова, то неизбежны серьезные искажения. Конечно, электоральная партийная политика тоже подпорчена неравенством финансирования, порождаемым ролью заинтересованных деловых групп. Но в этом случае степень искажения зависит от того, насколько глубоко либерализму позволяют проникнуть в демократию. Чем лучше обеспечены равные правила игры в таких вопросах, как партийное финансирование и доступ к средствам массовой информации, тем больше подлинной демократии. С другой стороны, чем больше процветает либеральное политикачество, а электоральная демократия атрофируется, тем более уязвимой становится последняя перед искающей неравенством и тем ниже демократичность государства. Оживленный мир различных групп, преследующих различные цели, служит свидетельством того, что мы можем приблизиться к максимальной демократии. Но при этом нельзя забывать, что постдемократии

## I. Почему постдемократия?

мократические силы тоже используют возможности либерального общества.

Схожие доводы можно использовать для опровержения еще одного американского неолиберального аргумента, что современные граждане больше не нуждаются в государстве так, как в нем нуждались их предшественники, что они должны больше опираться на собственные силы и быть более способными и готовыми достигать своих целей при помощи рыночной экономики и что поэтому их меньше должны заботить политические вопросы (см., например: Hardin, 2000). Но корпоративные лобби не выказывают признаков утраты интереса к использованию государства для достижения того, что выгодно им. Как показывает нынешняя ситуация в США, эти лобби плотно окружают и неинтервенционистское неолиберальное государство с низким уровнем государственных расходов, и государства с высокими социальными расходами. И чем больше государство уходит из обеспечения жизни простых людей, порождая у них апатичное отношение к политике, тем проще корпоративным интересам более или менее незаметно использовать его в качестве своей дойной коровы. Неспособность признать это служит отражением глубокой наивности неолиберальной мысли.

## СИМПТОМЫ ПОСТДЕМОКРАТИИ

При наличии всего двух понятий — демократии и не-демократии — мы не слишком далеко продвинемся в дискуссиях о здоровье демократии. Идея постдемократии помогает нам описать те ситуации, когда приверженцев демократии охватывают усталость, отчаяние и разочарование; когда заинтересованное и сильное меньшинство проявляет гораздо большую активность в попытках с выгодой для себя эксплуатировать политическую систему, нежели массы простых людей; когда политические элиты научились управ-

лять и манипулировать народными требованиями; когда людей чуть ли не за руку тащат на избирательные участки. Это не то же самое, что недемократия, потому что речь идет о периоде, когда мы как бы выходим на другую ветвь демократической параболы. Налицо много признаков того, что именно это происходит в современных развитых обществах: мы наблюдаем отход от идеала максимальной демократии в сторону постдемократической модели. Но прежде чем развивать эту тему дальше, следует вкратце осветить вопрос об использовании префикса «пост-» в общем смысле.

Идея «пост-» регулярно всплывает в современных дискуссиях: мы любим рассуждать о постиндустриализме, постмодерне, постлиберализме, постиронии. Однако она может означать нечто весьма конкретное. Здесь самое существенное — упомянутая выше мысль об исторической параболе, по которой движется феномен, снабженный префиксом «пост-». Это верно в отношении любых явлений, поэтому давайте сперва абстрактно поговорим о «пост-Х». Временной период 1 — это эпоха «пред-Х», обладающая определенными характеристиками, которые обусловлены отсутствием Х. Временной период 2 — эпоха расцвета Х, когда многое им затрагивается и приобретает иной вид по сравнению с первым периодом. Временной период 3 — эпоха «пост-Х»: появляются новые факторы, снижая значение Х и в некотором смысле выходя за его пределы; соответственно, некоторые явления становятся иными, нежели в периоды 1 и 2. Но влияние Х продолжает сказываться; его проявления по-прежнему хорошо заметны, хотя кое-что возвращается в то состояние, каким оно было в период 1. Следовательно, постпериоды должны отличаться весьма сложным характером. (Если вышеупомянутые рассуждения кажутся слишком абстрактными, читатель может заменить все Х словом «индустриальный», получив в качестве иллюстрации весьма характерный пример.)

## I. Почему постдемократия?

Именно так можно понимать и постдемократию. Связанные с ней изменения на определенном уровне представляют собой переход от демократии к некоторой более гибкой форме политического реагирования, нежели те конфликты, которые привели к тяжеловесным компромиссам середины XX столетия. В известной степени мы вышли за рамки идеи народовластия, бросив вызов идеи власти как таковой. Это отражается в подвижках, происходящих в среде граждан: налицо утрата уважения к правительству, характерная, в частности, для нынешнего отношения к политике в СМИ; от правительства требуют полной открытости; сами политики превращаются из правителей во что-то вроде лавочников, в стремлении сохранить свой бизнес озабоченно старающихся выяснить все пожелания своих «клиентов».

Соответственно, политический мир по-своему реагирует на эти перемены, грозящие вытолкнуть его на непривлекательную и второстепенную позицию. Будучи не в состоянии вернуть себе прежний авторитет и уважение, с трудом представляя, чего от него ждет население, он вынужден прибегать к хорошо известным приемам современных политических манипуляций, которые дают возможность выяснить настроения общества, не позволяя при этом последнему взять контроль за процессом в свои руки. Кроме того, политический мир имитирует методы других миров, имеющих более определенное представление о самих себе и более уверенных в себе: речь идет о мире шоубизнеса и рекламы.

Отсюда и возникают известные парадоксы современной политики: в то время как технологии манипулирования общественным мнением и механизмы надзора за политическим процессом приобретают все большую изощренность, содержание партийных программ и характер межпартийного соперничества становятся все более пресными и невыразительными. Политику такого рода нельзя назвать не- или антиде-

мократической, потому что ее результаты во многом определяются стремлением политиков сохранить хорошие отношения с гражданами. В то же время такую политику трудно назвать демократической, потому что многие граждане сводятся в ней к пассивным объектам манипулирования, редко участвующим в политическом процессе.

Именно в этом контексте мы можем понять выскакивания некоторых ведущих фигур из стана британских новых лейбористов относительно необходимости создания демократических институтов, которые не сводились бы к идее выборных представителей в парламенте, но в качестве примера при этом ссылаются на использование фокус-групп, что само по себе нелепо. Фокус-группа находится всецело под контролем своих организаторов, которые отбирают и участников, и обсуждаемые темы, а также методы их обсуждения и анализа результатов. Тем не менее в эпоху постдемократии политики имеют дело с запутавшейся общественностью, пассивной в смысле выработки собственной повестки дня. Разумеется, понятно, что они усматривают в фокус-группах более научное средство выяснения общественного мнения по сравнению с грубыми и неадекватными механизмами массового партийного участия и объявляют их гласом народа и исторической альтернативой модели демократии, опирающейся на рабочее движение.

В рамках постдемократии с присущей ей сложностью постпериода продолжают существовать практически все формальные компоненты демократии. Но в долгосрочной перспективе следует ожидать их эрозии, сопровождающей дальнейший отход пресыщенного и разочарованного общества от максимальной демократии. Доказательством того, что это происходит, служит по большей части вялая реакция американского общественного мнения на скандал вокруг президентских выборов 2000 года. Признаки ус-

талости от демократии в Великобритании проявляются в подходах консерваторов и новых лейбористов к местному самоуправлению, которое почти без всякого сопротивления постепенно отдает свои функции как органам центральной власти, так и частным фирмам. Кроме того, следует ожидать исчезновения некоторых фундаментальных столпов демократии и соответствующего параболического возвращения ряда элементов, характерных для преддемократии. К этому приводит глобализация деловых интересов и фрагментация остальной части населения, отнимающие политические преимущества у тех, кто борется с неравенством при распределении богатства и власти, в пользу тех, кто хочет вернуть это неравенство к уровню преддемократической эпохи.

Некоторые заметные последствия этих процессов уже можно наблюдать во многих странах. Государство всеобщего благосостояния из системы всеобщих гражданских прав постепенно превращается в механизм для вознаграждения достойных бедняков; профсоюзы подвергаются все большей маргинализации; вновь становится все более заметной роль государства как полицейского и тюремщика; растет разрыв в доходах между богатыми и бедными; налогообложение теряет свой перераспределительный характер; политики отзываются в первую очередь на запросы горстки вождей бизнеса, чьи особые интересы становятся содержанием публичной политики; бедные постепенно утрачивают всякий интерес к политике и даже не ходят на выборы, добровольно возвращаясь к той позиции, которую вынужденно занимали в преддемократическую эпоху. То, что подобный возврат к прошлому в наибольшей степени заметен именно в США — в обществе, наиболее ориентированном на будущее, проявившем себя в прежние времена в качестве лидера демократических достижений, — объяснимо лишь феноменом демократической параболы.

Глубокой двусмысленностью отличается постдемократическая тенденция все более подозрительного отношения к политике и желания взять ее под строгий контроль, что опять-таки особенно заметно в случае с Соединенными Штатами. Важным элементом демократического движения было требование общественности, чтобы власть государства использовалась для недопущения концентрации частной власти. Соответственно, атмосфера цинизма в отношении политики и политиков, невысокие ожидания по части их достижений и жесткий надзор за масштабами их деятельности и полномочий вполне отвечают повестке дня тех, кто желает обуздать активное государство, например принявшее форму государства всеобщего благосостояния или кейнсианского государства, именно с целью освободить частную власть и вывести ее из-под контроля. По крайней мере в западных обществах неконтролируемая частная власть была не менее заметной чертой преддемократических обществ, чем неконтролируемая власть государства.

Кроме того, состояние постдемократии заметным образом сказывается на характере политической коммуникации. Вспоминая всевозможные формы политических дискуссий в меж- и послевоенные десятилетия, поражаешься существовавшему в то время сравнительному сходству языка и стиля государственных документов, серьезной журналистики, популярной журналистики, партийных манифестов и публичных выступлений политиков. Разумеется, серьезный официальный доклад, предназначенный для сообщества тех, кто занимался разработкой политики, отличался своим языком и сложностью от многотиражной газеты, но по сравнению с сегодняшним днем различие было невелико. Язык документов, имеющих хождение в кругу тех, кто занимается разработкой политики, не претерпел за это время существенных изменений, однако радикально изменился язык дис-

куссий в многотиражных газетах, правительственные материалов, предназначенных для широкой публики, и партийных манифестов. Они почти не допускают сложности языка и аргументации. Если человек, привыкший к такому стилю, неожиданно получит доступ к протоколу серьезной дискуссии, он растеряется, не зная, как его понимать. Возможно, новостные программы телевидения, вынужденного кое-как существовать между двух миров, оказывают людям серьезную услугу, помогая им устанавливать подобные связи.

Мы уже привыкли, что политики говорят не так, как нормальные люди, изъясняясь бойкими и отточенными афоризмами в оригинальном стиле. Мы не задумываемся над этим явлением, а ведь такая форма коммуникации, подобно языку таблоидов и партийной литературе, не похожа ни на обычновенную речь людей на улице, ни на язык реальных политических дискуссий. Ее задача — в том, чтобы оставаться неподконтрольной этим двум основным разновидностям демократического дискурса.

Отсюда возникает несколько вопросов. Полвека тому назад население в среднем было менее образованным, чем сегодня. Было ли оно в состоянии понимать предназначенные для него ушам политические дискуссии? Несомненно, что оно более регулярно участвовало в выборах по сравнению с последующими поколениями, а во многих странах постоянно покупало газеты, обращавшиеся к нему не на столь примитивном уровне, и готово было платить за них более высокую долю своих доходов, чем платим мы.

Чтобы разобраться в том, что произошло за истекшие полвека, необходимо рассмотреть этот процесс в более широкой исторической перспективе. Политики, в первой половине века застывшие врасплох сперва призывами к демократии, а затем и ее реалиями, старались придумать, как им следует обращаться к новой массовой общественности. В течение ка-

кого-то времени казалось, что лишь такие манипуляторы и демагоги, как Гитлер, Муссолини и Сталин, владеют секретом власти, приобретенной путем коммуникации с массами. Неуклюжесть попыток говорить с массами ставила демократических политиков примерно в равные дискурсивные условия с их избирателем. Но затем рекламная индустрия США начала оттачивать свое мастерство, добившись особых успехов благодаря развитию коммерческого телевидения. Так умение убеждать стало профессией. До сих пор большинство ее представителей посвящают себя искусству продажи товаров и услуг, однако политики и прочие из числа тех, кто использует убеждение в своих целях, с готовностью шли следом, подхватывая инновации рекламной индустрии и добиваясь максимального сходства своего занятия с торговлей, чтобы извлечь как можно больше выгоды из новых методов.

Мы уже настолько привыкли к этому, что по умолчанию воспринимаем партийную программу как «товар», а в политиках видим людей, «впаривающих» нам свое послание. Но на самом деле все это совсем не так очевидно. Теоретически были доступны и другие успешные механизмы обращения к большому числу людей, используемые религиозными проповедниками, школьными учителями и популярными журналистами, пишущими на серьезные темы. Поразительный пример последнего мы видим в лице британского писателя Джорджа Оруэлла, который стремился превратить массовую политическую коммуникацию в разновидность искусства, и в нечто весьма серьезное. С 1930-х по 1950-е годы в британской популярной журналистике было весьма распространено подражание Оруэллу, которое сейчас практически сошло на нет. Популярная журналистика, как и политика, начала строиться по образцу рекламы: очень короткие сообщения, почти не требующие концентрации внимания, и использование слов для создания ярких

образов вместо аргументов, обращенных к разуму. Реклама — это не рациональный диалог. Она не доказывает необходимость покупки рекламируемой продукции, а связывает последнюю с конкретной образной системой. Рекламе невозможно возразить. Ее цель — не вовлечь вас в дискуссию, а убедить сделать покупку. Использование ее методов помогло политическим решить задачу коммуникации с массами, но отнюдь не пошло на пользу самой демократии.

В дальнейшем деградация массовой политической коммуникации проявилась в растущей персонализации электоральной политики. Прежде избирательные кампании, totally завязанные на личность кандидата, были характерны для диктатур и для электоральной политики в обществах со слаборазвитой системой партий и дискуссий. За некоторыми случайными исключениями (такими как Конрад Аденауэр и Шарль де Голль), они гораздо реже встречались в демократический период; их широкое распространение в наше время служит еще одним признаком перехода на другую ветвь параболы. Восхваление мнимых харизматических качеств партийного лидера, его фото- и видеодизайна в красивых позах с течением времени все больше подменяют собой дискуссии о насущных проблемах и конфликтах интересов. В итальянской политике ничего подобного не наблюдалось до всеобщих выборов 2001 года, когда Сильвио Берлускони выстроил всю правоцентристскую кампанию вокруг своей фигуры, используя огромное количество своих портретов, на которых выглядел гораздо моложе своих лет, что составляло резкий контраст с традиционным партийно-ориентированным стилем, использовавшимся итальянскими политиками после свержения Муссолини. Вместо того чтобы использовать такое поведение Берлускони для резкой критики в его адрес, непосредственный и единственный ответ левоцентристов заключался в том, чтобы найти достаточно фотогеничную личность среди своего руководства

и постараться сымитировать кампанию Берлускони настолько, насколько это возможно.

Еще более явной была роль личности претендента на поразительных губернаторских выборах 2003 года в Калифорнии, когда киноактер Арнольд Шварценеггер провел успешную кампанию, не имевшую политического содержания и основанную почти исключительно на факте его известности как голливудской звезды. На первых голландских всеобщих выборах 2002 года Пим Фортейн не только создал новую партию, целиком построенную вокруг его личности, но и назвал ее своим именем («Список Пима Фортейна») — и та добилась столь поразительных успехов, что продолжала существовать, даже несмотря на его убийство незадолго до выборов (или благодаря этому). Вскоре после этого она развалилась из-за внутренних разногласий. Феномен Фортейна является собой и пример постдемократии, и попытку дать на нее ответ. Он включал использование харизматической личности для оглашения расплывчатой и бессвязной политической программы, в которой отсутствовало четкое выражение чьих-либо интересов, кроме обеспокоенности недавним наплывом иммигрантов в Нидерланды. Она была обращена к тем слоям населения, которые утратили прежнее чувство политической идентичности, хотя и не помогала им найти его снова. Голландское общество служит особенно показательным примером стремительной утраты политической идентичности. В отличие от большинства других западноевропейских обществ, оно пережило утрату не только четкой классовой идентичности, но и ярко выраженной религиозной идентичности, которая до 1970-х годов играла ключевую роль в поиске голландцами своей специфической культурной, а также политической идентичности в рамках общества.

Однако, хотя отмирание подобных видов идентичности приветствуется некоторыми из тех, кто, подобно Тони Блэру или Сильвио Берлускони, пыта-

ется сформулировать новый, постидентичностный подход к политике, движение Фортейна одновременно выражало неудовлетворенность именно таким состоянием дел. Значительную часть своей кампании Фортейн строил на сожалениях об отсутствии ясности в политических позициях большинства других голландских политиков, которые, по его (достаточно истинным) утверждениям, пытались решить проблему возрастающей расплывчатости самого избирателя, обращаясь к какому-то невнятному среднему классу. Апеллируя к идентичности, основанной на враждебности к иммигрантам, Фортейн был не слишком оригинален — подобное явление стало почти повсеместной чертой в современной политике. К этому вопросу мы еще вернемся.

Являясь одним из аспектов отхода от серьезных дискуссий, заимствования у шоу-бизнеса идей о том, как повысить интерес к политике, усиливающейся неспособности современных граждан определить свои интересы, а также возрастающей технической сложности проблем, феномен персонализации может быть истолкован как ответ на некоторые проблемы собственно постдемократии. Хотя никто из участников политического процесса не собирается отказываться от модели коммуникации, позаимствованной из рекламной индустрии, выявление отдельных примеров ее использования равнозначно обвинениям в нечистоплотности. Соответственно, политики приобретают репутацию людей, абсолютно не заслуживающих доверия в силу самой своей личности. К тем же последствиям ведет усиленное внимание СМИ к их личной жизни: обвинения, жалобы и расследования подменяют собой конструктивную общественную деятельность. В результате избирательная борьба принимает форму поиска личностей с твердым и прямым характером, но этот поиск тщетен, так как массовые выборы не дают информации, на основе которой можно делать подобные оценки. Вместо этого одни кандида-

ты создают себе образ честного и неподкупного политика, а их противники лишь с еще большим усердием роются в их личной жизни с целью найти доказательства обратного.

## ФЕНОМЕН ПОСТДЕМОКРАТИИ

В последующих главах мы изучим как причины, так и политические последствия сползания к постдемократической политике. Что касается причин, они носят сложный характер. В их числе следует ожидать энтропию максимальной демократии, однако встает вопрос — чем заполняется возникающий при этом политический вакуум? Сегодня самой очевидной силой, делающей это, является экономическая глобализация. Крупные корпорации нередко перерастают способность отдельных национальных государств осуществлять контроль за ними. Если корпорациям не нравится регулирующий или фискальный режим в одной стране, они угрожают перебраться в другую страну, и государства, нуждаясь в инвестициях, все сильнее соперничают в готовности предоставлять корпорациям наиболее благоприятные условия. Демократия просто не поспевает за темпом глобализации. Максимум, что ей под силу, — работа на уровне некоторых международных объединений. Но даже важнейший из них — Европейский Союз — просто неуклюжий пигмей по сравнению с энергичными корпоративными гигантами. К тому же по самым скромным стандартам его демократические качества крайне слабы. Некоторые из этих моментов будут рассмотрены в главе II, когда пойдет речь о минусах глобализации, а также о значении отдельного, но родственного явления — превращения компаний в институт, — влекущего за собой определенные последствия для типичных механизмов демократического управления и, соответственно, роли этого явления в переходе на другую ветвь демократической параболы.

## I. Почему постдемократия?

Наряду с усилением глобальной корпорации и компаний вообще мы видим, как снижается политическое значение простых трудящихся. Это отчасти связано с изменениями в структуре занятости, которые будут рассмотрены в главе III. Упадок тех профессий, в которых возникли трудовые организации, придававшие силу политическим требованиям масс, привел к фрагментированности и политической пассивности населения, не способного создать организаций, которые были бы выразителями его интересов. Более того, закат кейнсианства и массового производства снизил экономическое значение масс: можно сказать, что рабочая политика также вышла на другую ветвь параболы.

Такое изменение политического места крупных социальных групп имело важные последствия для взаимоотношений между политическими партиями и избирателем, особенно заметно сказавшись на левых партиях, которые исторически являлись представителями групп, снова выталкиваемых на обочину политической жизни. Но, поскольку многие текущие проблемы касаются массового избирателя вообще, вопрос ставится намного шире. Партийная модель, разработанная для эпохи расцвета демократии, постепенно и незаметно превратилась в нечто иное — в модель постдемократической партии. Об этом речь пойдет в главе IV.

Многие читатели, особенно к моменту дискуссии в главе IV, могут указать на то, что я рассматриваю исключительно политический мир, замкнутый сам на себя. Так ли уж важно для простых граждан, какие люди населяют коридоры политического влияния? Не имеем ли мы дело с куртуазной игрой, не влекущей за собой реальных социальных последствий? На эту критику можно ответить обзором различных политических сфер, демонстрирующим, насколько возрастающее доминирование деловых лобби над большинством прочих интересов исказило проведение госу-

дарством реальной политики, с соответствующими реальными последствиями для граждан. Объем нашей работы позволяет уделить место лишь одному примеру, и, соответственно, в главе V мы обсудим влияние постдемократической политики на такую злободневную проблему, как организационная реформа общественных услуг. Наконец, в главе VI мы зададимся вопросом о том, можно ли что-нибудь поделать с описанными нами тревожными тенденциями.

## II. Глобальная компания: ключевой институт постдемократического мира

На протяжении большей части XX века европейские левые не сознавали значения компаний как института. Первоначально она представлялась исключительно орудием извлечения прибыли для ее владельцев и эксплуатации ее работников. Воплотившиеся в компании преимущества рыночной восприимчивости к запросам потребителей по большей части ускользнули от внимания в целом небогатого рабочего класса, который обладал весьма ограниченными возможностями для выражения потребительских предпочтений. Впоследствии, в беззаботную эпоху всеобщего обогащения в третьей четверти XX века, когда возник феномен массового потребительства, компания сама собой стала восприниматься как удобная дойная корова.

Для этого кейнсианского периода было характерно повышенное внимание практически всех партий к макроэкономической политике. Предполагалось, что отдельные компании безо всякого труда находят и эксплуатируют всевозможные ниши на товарных рынках, процветающих благодаря макрополитике. Мнение тех неолиберальных правых, которые указывали на значение микроэкономики и на проблемы компаний, по большей части оставалось неуслышанным. В каком-то смысле это было удобно самим компаниям: создавая условия экономической стабильности и не вдаваясь в детали того, чем занимаются компании, власти почти не вмешивались в их дела.

Все изменилось с крахом кейнсианской парадигмы вследствие инфляционных кризисов 1970-х годов.

Поддержание совокупного спроса перестало быть гарантированным, а товарные рынки стали ненадежными. Это усугублялось и другими явлениями: быстрыми технологическими изменениями и инновациями, усилением глобальной конкуренции, возросшей требовательностью потребителей. Те компании, которым не хватало предпримчивости, обнаружили, что земля уходит у них из-под ног. Резко возрасла разница между преуспевающими и неудачливыми компаниями, участились банкротства, выросла безработица. Компании, добившиеся лишь умеренного успеха, отныне не могли чувствовать себя в безопасности. К голосу лобби и групп давления, выражавших интересы корпоративного сектора, стали чаще прислушиваться — по аналогии с тем, как к жалобам больного на сквозняк относятся более серьезно, чем к таким же жалобам здорового человека.

Затем произошли и другие изменения, которые помогли компаниям превратиться в крепкие и требовательные, отнюдь не больные существа, но, как ни странно, вовсе не повлекли за собой снижение внимания к их запросам. Общим местом политических дискуссий стало мнение о том, что в этом виновата глобализация. Она, несомненно, усилила конкуренцию и тем самым высветила уязвимость отдельных компаний. Выживают в этой конкуренции самые сильные, но не в смысле взаимодействия с конкурентами, а скорее в смысле взаимодействия с властями и с рабочей силой. Если владельцы глобальной компании не удовлетворены местным фискальным или трудовым режимом, они угрожают перебраться в другое место. Таким образом они получают доступ к правительству и влияют на проводимую им политику куда более эффективно, чем это в состоянии делать простой гражданин, даже если они не живут в этой стране, не имеют формальных прав гражданства и не платят здесь налоги. В своей книге «Работа народов» (Reich, 1991) Роберт Райш писал и об этой группе, и о высо-

кооплачиваемых специалистах, чьи навыки востребованы во всем мире, и о проблемах, проистекающих из того факта, что они обладают значительной властью, но при этом не связаны с каким-то определенным обществом. Подавляющее большинство населения не обладает такой возможностью: оно остается более или менее привязано к родному государству и вынуждено соблюдать его законы и платить налоги.

Во многих отношениях это напоминает ситуацию в предреволюционной Франции, где монархия и аристократия были свободны от налогов, но монополизировали политическую власть, в то время как средние классы и крестьянство платили налоги, но не имели политических прав. Подобная откровенная несправедливость стала основной движущей силой и захваткой на первоначальном этапе борьбы за демократию. Представители глобальной корпоративной элиты не делают ничего столь же вопиющего и не отнимают у нас право голоса (ведь мы движемся по демократической параболе, а не описываем полный цикл). Они просто предупреждают правительство, что оно не дождется инвестиций, если по-прежнему будет сохранять, скажем, широкие права трудящихся. Все крупные партии страны, покупаясь на этот блеф, говорят своему избирателю о необходимости реформировать устаревшее трудовое законодательство. Дошли ли эти слова до ушей избирателя или нет, он покорно голосует за свою партию, потому что почти лишен выбора. После этого можно говорить, что ущемление прав рабочих произошло в результате свободного демократического процесса.

Аналогичным образом компании могут требовать снижения корпоративного налогообложения, объявляя это условием для дальнейших инвестиций в страну. Когда правительство им подчиняется, налоговое бремя перекладывается с плеч корпораций на плечи отдельных налогоплательщиков, которые, в свою очередь, возмущаются высоким уровнем налогов. Крупные пар-

тии реагируют на это, проводя всеобщие выборы как аукционы по урезанию налогов; избиратели, естественно, голосуют за партию, обещающую наибольшие налоговые послабления, и через несколько лет сталкивается с резким ухудшением качества государственных услуг. Но он сам за это проголосовал; такая политика обладает полной демократической легитимностью.

Однако следует быть осторожным и избегать преувеличений. Представление об абсолютно независимом капитале — заблуждение, курьезным образом разделяемое и левыми, и правыми. Первые с его помощью рисуют картину деловых интересов, вышедших из-под какого-либо контроля. Последние прибегают к нему, агитируя за отмену всех положений трудового законодательства и налогов, неудобных для корпораций. В реальности же мы не только имеем множество компаний, весьма далеких от глобального уровня; даже транснациональные гиганты сильно ограничены в возможностях менять одну страну на другую в поисках самых низких налогов и минимальных требований по части трудового законодательства — этому препятствует сложившаяся структура инвестиций, кадров и деловых связей. Переезд на другое место связан с большими затратами, о чем весьма живо напомнили события 2000 года, когда и *BMW*, и *Ford* решили перенести часть своего производства из Великобритании на немецкие заводы. Хотя такое решение во многом основывалось на чрезмерном укреплении фунта стерлингов, дополнительной причиной служило также то, что закрывать производство в Германии было слишком хлопотно и дорого. Иными словами, сами усилия правительства консерваторов и новых лейбористов по привлечению в страну инвестиций путем повышения гибкости британских законов повысили вероятность закрытия внешними инвесторами британских заводов. Легко пришло — легко ушло.

С другой стороны, если условия в такой экономике, как немецкая, более благоприятны, чем в британской,

для сохранения уже существующих производственных мощностей, то британский подход, возможно, позволит привлечь больше новых компаний при условии, что британские власти продолжат обещать ни к чему не привязанным глобальным компаниям то, чего они хотят. Если такая политика окажется успешной, то постепенно все страны возьмут ее на вооружение, наперебой обещая внешним инвесторам все, чего бы те ни попросили, и закончится это предсказуемой «гонкой уступок» в трудовом законодательстве, снижением уровня налогов и соответствующим ухудшением качества общественных услуг (помимо тех, в которых непосредственно нуждаются внешние инвесторы, таких как коммуникации и повышение квалификации рабочей силы). До сих пор эта гонка разворачивалась медленно, главным образом из-за того, что вопросы трудового законодательства и социального обеспечения в некоторых (хотя, разумеется, не всех) странах Евросоюза имели больший вес, чем в Великобритании. Но со временем положение изменится. Какие бы устремления ни порождали демократические процессы в политике, населению, нуждающемуся в работе, придется уступить перед требованиями глобальных компаний.

Как бы ни преувеличивали успехи глобализации, она, безусловно, вносит свой вклад в создание проблем для демократии — системы, едва способной подняться над национальным уровнем. Однако последствия возрастающего значения компаний как института (что представляет собой один из аспектов проблемы глобализации) оказываются значительно более глубокими и негативно сказываются на состоянии демократии более тонким образом.

### ПРИЗРАЧНАЯ КОМПАНИЯ

В течение 1980-х годов многие крупные корпорации пытались внедрить у себя корпоративную культуру или подход «компания превыше всего». Он вклю-

чал в себя подчинение всех аспектов работы целенаправленному стремлению к победе над конкурентами. В частности, в соответствие с генеральным планом следовало привести личность наемных работников и степень их преданности нанимателю. Главной моделью экономического успеха тогда еще считалась Япония, а крупные японские корпорации особенно эффективно применяли такую стратегию. Для многих компаний это стало обоснованием для запрета внешним профсоюзам представлять интересы работников компаний, ассоциациям работодателей — представлять интересы самой компании при заключении коллективных договоров; компании отказались даже от услуг торговых ассоциаций при защите своих интересов технического и рыночного характера. Отныне компаниям полагалось во всем рассчитывать только на самих себя.

Все это способствовало созданию сцены, на которой ключевую роль снова стали играть отдельные компании, а не деловые ассоциации, но дальнейшие события пошли по неожиданному пути. Энтузиазм в отношении корпоративной культуры обуздывался двумя новыми важными тенденциями, сопровождавшими замену японской корпоративной модели как образца для подражания на американскую: 1) склонностью компаний стремительно менять свою идентичность в результате поглощений, слияний и частых реорганизаций и попыток избавиться от любых приобретенных в прошлом намеков на дурную репутацию; 2) все более случайным характером наемного труда (включая такие явления, как временные трудовые договоры, франчайзинг и приобретение статуса индивидуальных предпринимателей теми, кто *de facto* являлся наемными работниками).

Эти изменения стали ответом на резко возросшую потребность компаний в гибкости, которая стала ключевым приоритетом в их деятельности вследствие недостаточности современных рынков и возросшего зна-

чения фондовых бирж в результате глобального финансового дерегулирования. Приоритетной задачей отныне является максимизация акционерной стоимости, а это требует способности к быстрой смене сферы деятельности. На заимствовании такой англо-американской системы корпоративного управления настаивает сильное деловое лобби в континентальной Европе и Японии. В этой кампании присутствует и заметная идеологическая составляющая. На практике источником инвестиционных средств для подавляющего большинства компаний по-прежнему остается нераспределенная прибыль, а не фондовый рынок. Это наблюдается и в континентальной европейской экономике, где нераспределенная прибыль в большей степени дополняется банковскими займами, нежели акционерным финансированием, но более характерно для англоязычных стран —bastиона экономики, завязанной на фондовый рынок, в которой акционерное финансирование составляет лишь малую долю инвестиционных средств (Corbett and Jenkinson, 1996).

Для достижения подобной абсолютной гибкости уже недостаточно известной стратегии сохранения ключевого бизнеса вкупе с заключением подрядов на побочные работы. Отныне само сохранение ключевого бизнеса служит свидетельством *нежелательной негибкости*. Самые передовые компании переводят на аутсорсинг и субконтракты почти всю свою деятельность, за исключением работы стратегического штаба, принимающего ключевые финансовые решения, — тот продвигает бренд, но почти не имеет отношения к реальному производству. Решать возникающие при этом сложные организационные задачи позволяют информационные технологии. Так, с помощью Интернета можно получать заказы от клиентов и управлять производством и распределением, которые осуществляются на рассредоточенных производственных мощностях, при изменении задач, легко переключаемых на другую программу. Цель успешной

компании отныне состоит в том, чтобы обеспечить свое присутствие в первую очередь в финансовом секторе (потому что именно там капитал наиболее мобилен), а все прочие виды деятельности выполнять с помощью субконтрактов, передаваемых мелким, недостаточно надежным структурам. Как убедительно показывает Наоми Кляйн в своей книге *No Logo* (Кляйн, 2005), если всю работу по производству продукции можно доверить субподрядчикам, сама компания может сосредоточиться на единственном деле — разработке своего бренда. Роль успешной компании, освободившейся от задач, связанных с собственно материальным производством, сводится к тому, чтобы связать свой бренд с привлекательными образами, идеями, знаменитостями; продукцию, носящую этот бренд, будут покупать благодаря таким ассоциациям, почти вне зависимости от ее реального качества.

Поразительный темп слияний и призрачный характер компаний, осуществляющих временное, анонимное накопление финансов с целью электронной координации множества рассредоточенных производств, привели многих обозревателей к идеи об окончательном исчезновении капитала как социально-политической категории, что является собой важный этап на пути к уничтожению классового деления старых индустриальных обществ (см., например: Castells, 1996; Giddens, 1998). Соответственно, компания начала XXI века может показаться более слабой в сравнении с ее предшественниками: это уже не солидная, весьма осозаемая организация с большой штаб-квартирой, а нечто гибкое, податливое, изменчивое, подобное блуждающему огоньку.

Но такое представление будет абсолютно ошибочным. Способность к деконструкции — крайнее проявление сущности компании, доминирующей в современном обществе. Классическая компания имела более-менее стабильный круг владельцев, собственные кадры наемных служащих, которых она нередко

поощряла к долгой службе, и репутацию у клиентов, приобретенную в течение длительного времени. Типичной современной компанией владеют постоянно меняющиеся акционеры, которые продают и покупают свои акции по электронным сетям. В ней используются всевозможные договоры на оказание услуг для привлечения текущей рабочей силы и избавления от необходимости иметь реальных наемных работников. Те, кто трудятся на компанию, зачастую не в состоянии выяснить, кто же их фактический работодатель. Вместо того чтобы завоевывать репутацию качеством своей продукции, компания нередко просто меняет свое название и сферу деятельности, используя технологии рекламы и маркетинга для создания временного образа, который в свою очередь может быть изменен и переделан за весьма короткое время. Клиенты практически лишаются возможности ознакомиться с историей компании. Невидимость становится оружием.

В этом море изменений неизменными остаются лишь две вещи. Во-первых, идентичность крупнейших реальных владельцев Корпоративного капитала меняется очень медленно: это одни и те же группировки, более-менее одни и те же лица, проявляющиеся во все новых масках и обличьях. Две экономики, наиболее далеко зашедшие в развитии этой новой формы гибкого капитализма, — США и Великобритания — в то же самое время являются двумя наиболее развитыми обществами, которым свойственно все большее неравенство во владении собственностью, несмотря на заметно возросшее по сравнению с прошлыми временами число номинальных акционеров. Деконструироваться могут конкретные скопления капитала, но только не его фактические владельцы. Во-вторых, как бы часто отдельные компании ни меняли свою идентичность, ключевая концепция компаний как института — отчасти в результате самой этой гибкости — приобретает все большее зна-

чение в рамках общества. Этот момент требует более пристального рассмотрения, так как связан с некоторыми фундаментальными аспектами постдемократии.

## КОМПАНИЯ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Гибкая призрачная компания во многих отношениях чрезвычайно восприимчива к запросам клиентов. Если какая-либо компания считает, что может увеличить свою прибыль, занявшись вместо стальных конструкций производством сотовых телефонов, то ее место на рынке металлоизделий, скорее всего, будет занято другой компанией. Так создается креативная текучесть рынка. Однако для обслуживания некоторых потребностей такая модель не очень подходит. Могут иметься веские основания для того, чтобы каждому были доступны определенные товары и услуги, производство и предоставление которых в условиях свободного рынка нерентабельно. Это известная проблема, решать которую обычно приходится правительству. Но для того, чтобы признать такое положение дел, необходимо свыкнуться с мыслью о том, что *modus operandi* правительства и частной компании в ряде отношений весьма существенно различаются. Возьмем лишь один простой пример: супермаркеты располагаются на крупных загородных шоссе, тем самым становясь доступными для большинства прибыльных покупателей. Остаются немногие, для кого поход по магазинам превращается в крайне затруднительное дело, но супермаркетам неинтересны эти бедняки с их мелкими покупками. Иногда такую ситуацию называют ворищей, однако это мелочи по сравнению с тем, что может произойти в следующем случае. Представим себе, что местные власти, ответственные за содержание городских школ, объявляют, что в рамках своей политики рыночного тестирования и повышения качества услуг они восполь-

зовались опытом консультантов сети супермаркетов, чтобы определить, какое местоположение школ наиболее эффективно с точки зрения затрат. Поэтому большинство школ будет закрыто, а вместо них откроется небольшое число школ-гигантов, расположенных на автомагистралях. Исследования показали, что те немногие ученики, чьи родители не имеют автомобилей, скорее всего, все равно будут плохо учиться. Таким образом, помимо значительной экономии вследствие закрытия большинства школ, общие показатели города в смысле школьной успеваемости также улучшатся в результате того, что эти неуспевающие ученики не смогут посещать школу.

Каждый может придумать множество причин, по которым этот план неприемлем и никогда не применялся на практике. Эти причины обосновываются таким понятием, как необходимость обеспечения всеобщего доступа к важнейшим общественным услугам, которая представляет собой одно из принципиальных различий между общественными и коммерческими услугами. Однако власти чем дальше, тем хуже способны определить, где проходят границы между первым и вторым. В момент нужды мы снова услышим призыв вернуться к идеям общественных услуг и социальных прав, оформленным где-то между концом XIX и серединой XX века. Но взаимоотношение этих понятий, благоговейно сохраняемых в бездействии, подобно музеинм экспонатам, и активных сил коммерциализации, на которые завязаны буквально все новые правительственные идеи и политические инициативы в сфере предоставления общественных услуг, редко удостаивается внятной формулировки или хотя бы рассмотрения. Между тем мы имеем здесь реальный конфликт, который будет только разгораться, потому что правительство завидует призрачной компании с ее гибкостью и очевидной эффективностью и почти бездумно пытается подражать ей. Как мы увидим в главе V, правительство все в большей степе-

пени отказывается от какой-либо четкой роли при предоставлении общественных услуг (которая включает в себя безусловную обязанность обеспечивать гражданам более-менее равный доступ к услугам высокого качества) и требует, чтобы его ведомства работали по образцу компаний (что включает в себя обязанность предоставлять услуги лишь такого качества, которое приемлемо по финансовым соображениям). Ради достижения этой цели отдельные виды общественных услуг либо приватизируются, либо отдаются на откуп компаниям-подрядчикам, а даже если остаются в общественном секторе, то предоставляются так, как если бы этим занималась частная компания. Подобно призрачной компании, правительство старается постепенно избавиться от всякой непосредственной ответственности за предоставление общественных услуг, способной испортить его репутацию. Но при этом оно отказывается и от притязаний на ряд особых функций, выполнение которых под силу лишь государственным службам. Тем самым нас все ближе подводят к выводу о том, что предоставление общественных услуг следует поручить лицам из корпоративного частного сектора, так как теперь лишь их опыт обладает какой-то ценностью.

#### ГОСУДАРСТВО УТРАЧИВАЕТ ВЕРУ В СВОИ СИЛЫ

Как мы рассмотрим более подробно в главе V, одним из важнейших последствий такого развития событий является полная потеря государственными структурами уверенности в том, что им удастся справиться со своими обязанностями без руководства со стороны корпоративного сектора. Так возникает порочный круг. Чем больше государственных функций отдается на откуп частному сектору, тем сильнее государство утрачивает свою компетенцию в тех сферах, в которых прежде чувствовало себя как дома. Постепенно

оно даже лишается навыков, без которых невозмож но разобраться в определенных видах деятельности. Поэтому оно вынуждено передавать субподрядчикам еще больше своих обязанностей и оплачивать услуги консультантов, объясняющих, как оно должно выполнять свою работу. Правительство становится своего рода институциональным идиотом — каждый его непродуманный ход заранее предсказывает ся хитрыми рыночными игроками и вследствие этого лишается смысла. Из этого следует ключевая политическая рекомендация современной экономической ортодоксии: государству лучше вообще ничего не делать, помимо выполнения своей роли гаранта свободного рынка.

Постепенно лишаясь независимой компетентности, государство скатывается к неолиберальной идеологии, хотя способность разглядеть то, что незаметно отдельным компаниям, когда-то служила сильным аргументом в пользу активного правительства. Именно на нем в первую очередь строилась кейнсианская политика. Опыт 1920-х и 1930-х годов показал, что рынок, возможно, сам по себе и неспособен стимулировать экономическое восстановление, зато это может сделать государство. Нынешние идеи о недостатке у государства знаний и его вероятной некомпетентности лишают нас такой возможности. Вместе с тем, поскольку считается, что знания, необходимые для управления и контроля, остались почти исключительно в ведении коммерческих частных корпораций, те получают стимулы к тому, чтобы использовать эти знания ради увеличения собственной прибыли.

Такой подход может пагубно сказываться на экономике и множить коррупцию, о чем свидетельствуют аудиторские скандалы, затронувшие после 2002 года ряд крупнейших мировых корпораций. Задача контроля за отчетностью корпораций издавна доверялась специальным аудиторским фирмам, но в течение 1990-х годов два фактора превратили такую си-

стему в крупный источник мошенничества и обмана. Во-первых, не предпринималось никаких политических или юридических мер против ширящейся практики предоставления аудиторскими фирмами других управлеченческих услуг тем компаниям, чью отчетность они же и проверяли: контролируемые превратились в клиентов контролеров, вследствие чего контролеры старались с ними не ссориться. Во-вторых, биржевой бум 1990-х годов держался главным образом на ожиданиях, а не на реальных успехах. Если отчетность фирмы позволяла рассчитывать на ее безоблачное будущее, то ее акции росли в цене, вне зависимости от текущих результатов работы на товарных рынках. Выдавать же прогнозы о перспективах компаний было поручено аудиторским фирмам. Лишь в таком климате, где стало аксиомой, что частные компании могут эффективно выполнять контролирующие функции, фактически являющиеся делом государства, все могли закрывать глаза на подобное безрассудство до тех пор, пока оно не привело к крупным потрясениям.

Тем временем презираемый институт правительства постепенно распадается на три части: первая часть — это те функции, которые он все более активно пытается перевести в рыночную форму; вторая — неприятный, обременительный набор тех немногих обязательств, которые частный сектор не собирается брать на себя, и третья — чисто политический компонент, ответственный за создание образа. Неудивительно, что в работе правительства на первый план выступают некомпетентность при предоставлении реальных услуг плюс беспардонная самореклама и борьба за голоса избирателей. Лишь Франция, где и левые, и правые следуют республиканской традиции государства как важнейшей формирующей силы, создающей гражданское общество, с большим или меньшим успехом сопротивляется этой тенденции, хотя и эта традиция явно не в силах побороть практи-

ку, в рамках которой политики предоставляют подряды на общественные услуги и передают приватизированные сектора тем компаниям, которые пользуются их наибольшим расположением, и своим друзьям-бизнесменам.

### КОРПОРАТИВНАЯ ЭЛИТА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ

Компании — это не просто организации, но и места сосредоточения власти. Существующая структура собственности приводит к концентрации частного капитала, и чем большее значение приобретают компании, тем более важную роль играет класс владельцев капитала. Более того, подавляющее большинство компаний устроено так, что их высшее руководство получает значительные полномочия. С течением времени эта тенденция проявляется все отчетливее в силу того, что компания англо-американского образца, в которой вся власть сосредоточена в руках генерального директора, ответственного исключительно перед акционерами, вытесняет прочие разновидности капитализма с более широким кругом ответственных лиц. Чем более сильной компания становится как организационная форма, тем больше власти оказывается в руках лиц, занимающих руководящие должности. Дополнительную власть они получают вследствие того, что правительство поручает им организацию его собственной работы и признает их превосходство в плане квалификации. Помимо доминирования в собственно экономике, они также превращаются в класс, подчинивший себе управление государством.

Можно указать на еще одно последствие. Поскольку правительство отказывается от роли активного спонсора, которую оно играло в кейнсианскую и социал-демократическую эпохи, организации, работающие в некоммерческой сфере, вынуждены искать

новые варианты финансирования. Главным потенциальным источником спонсорства становится корпоративный сектор, в котором концентрируются богатство и власть. Таким образом лица из делового сектора приобретают большое влияние, имея возможность решать, кого им следует спонсировать. В Великобритании этот процесс дошел до того, что мозговые центры, связанные с Лейбористской партией, вынуждены искать компании, готовые выделять средства на конкретные политические исследования, и это зачастую приводит к тому, что такие компании спонсируют политическую работу по вопросам, от которых непосредственно зависит их деятельность. Доходит до того, что работа некоторых консультативных органов британского правительства частично зависит от финансирования со стороны корпораций.

Корпоративный сектор зачастую не занимался некоторыми видами деятельности только потому, что считал это неподходящим для себя. Например, фармацевтическим фирмам явно не следует быть главными спонсорами медицинских исследований, но именно это происходит, когда власти вынуждают университеты все больше полагаться на спонсорство, отказывая им в финансировании. В прошлом корпорации обычно осуществляли спонсорство научных и культурных проектов через фонды, обладавшие значительной независимостью от самих компаний. Так было в период демократической щепетильности, когда люди весьма косо смотрели на непосредственное участие центров коммерческой власти и коммерческих интересов в работе некоммерческого сектора. Сегодня спонсорство реже осуществляется через посредников — компании предпочитают оказывать финансовую поддержку напрямую.

С целью подтолкнуть научные, культурные и прочие некоммерческие организации к поиску частных спонсоров государство все чаще ставит собственное финансирование этих организаций в зависимость

от того, удастся ли им найти таких спонсоров: местный театр или отделение университета получат помощь от властей лишь в том случае, если они сумеют заручиться поддержкой частных благотворителей. Это еще более усиливает власть богатых, позволяя им влиять на распределение государственных средств, поскольку те выделяются на те же цели, что и деньги частных спонсоров. Аналогичный пример представляет собой зародившаяся в США, но быстро распространяющаяся и в других странах практика вычета потраченных на благотворительность средств из сумм, подлежащих налогообложению. Это делается с тем, чтобы снизить объемы необходимого финансирования со стороны государства. Но в результате богатые корпорации и отдельные лица не только получают возможность решать, на какие виды деятельности выделять свои деньги, но одновременно и диктуют структуру государственного финансирования, которое изначально нередко осуществлялось именно с целью иной расстановки приоритетов, нежели та, которую бы выбрали богатые.

Еще одно следствие этих тенденций состоит в том, что предприниматели и руководители компаний получают весьма привилегированный доступ к политикам и государственным служащим. Поскольку успех и квалификация первых зависят исключительно от способности максимизировать акционерную стоимость своих компаний, следует ожидать, что как раз на благо этих компаний они и будут использовать вышеупомянутый доступ. В первую очередь это происходит тогда, когда взаимоотношения между правительством и каким-либо экономическим сектором осуществляются не через ассоциации, представляющие компании этого сектора, а через отдельные крупные корпорации. Такой вариант начинает преобладать даже в Германии и Швеции — двух странах, в которых компании издавна работали через государственные и весьма эффективные коллективные орга-

низации. В конце 1990-х годов социал-демократическое германское правительство привлекло служащих ведущих частных компаний к разработке корпоративной налоговой политики; неудивительно, что итогом стало серьезное облегчение налогового бремени для крупных германских корпораций за счет мелких компаний и трудающихся.

Чем больше различных видов своей деятельности правительство передает на субподряд и аутсорсинг, — обычно поступая так по совету лиц из корпоративного сектора, — тем выше становится потенциальная ценность доступа к должностным лицам, помогающего получить правительственные контракты. Если одной из характерных черт современной политики является переход к либеральной модели лоббирования и презентации своих интересов в противоположность партийной политике, то мы наблюдаем очень серьезное явление. Оно дает основания предполагать, что политика лоббирования приведет к еще большему усилению крупных корпораций и их руководителей. Власть, которой они уже обладают в рамках своих компаний, преобразуется в весьма значительную политическую власть, что представляет собой серьезную угрозу для демократического равновесия.

## ОСОБАЯ РОЛЬ МЕДИАКОРПОРАЦИЙ

Влиятельные корпорации, оказывающие непосредственное воздействие на политику (речь идет о медиаиндустрии), по сути, несут прямую ответственность за современную безальтернативность и деградацию политического языка и коммуникации — факторы, в немалой степени определяющие текущее нездоровое состояние демократии. Причин здесь две. Во-первых, печать, а также, во все большей степени, радио и телевидение входят в коммерческий сектор общества — вместо, допустим, благотворительного или образовательного секторов, в которых они вполне мог-

ли бы оказаться. Это означает, что программы новостей и прочие политически значимые сообщения должны соответствовать формату, который диктуется какими-то определенными представлениями о рыночном продукте. Если медиакомпания хочет переманить клиентов у конкурента, ей следует быстро завладевать вниманием читателя, слушателя или зрителя. В результате сообщения крайне упрощаются и подаются в сенсационном ключе, что, в свою очередь, снижает уровень политических дискуссий и компетентность граждан. Чрезмерное упрощение и сенсационность сами по себе не обязательно сопутствуют рынку и коммерциализации: рынки редких книг, спортивных машин, дорогих вин и прочих подобных вещей уважают потребность клиента в принятии тщательно продуманного решения и предоставляют ему обширную информацию. Подобные рынки в ограниченной степени существуют даже в рамках СМИ — в виде газет и программ для высокообразованных людей, умеющих воспринимать сложную аргументацию без особых умственных усилий. Массовый рынок новостей непригоден для серьезной продукции исключительно вследствие его особого характера и эфемерности поставляемого товара. В результате политические деятели вынуждены следовать одному и тому же шаблону, если они хотят сохранить какой-то контроль за формулированием собственных высказываний: если они не овладеют умением изрекать лаконичные, броские банальности, журналисты начисто перепишут то, что они хотели сказать. Политики всегда рассчитывали, что их слова будут цитировать в заголовках.

Предлагаю провести небольшой мысленный эксперимент, чтобы понять суть этого процесса. Представим себе, что учителям поставлена задача доносить до своих учеников информацию в газетном стиле, и наоборот. Каждый день учителя будут сталкиваться с риском того, что если им не удастся быстро завладеть вниманием учеников, то на следующее утро

те отправляются в другую школу. Сомнительно, что кого-либо из учеников привлекут алгебра, строение атомов углерода или французские неправильные глаголы. По сути, этот кошмар отчасти уже происходит: учителям приходится бороться за внимание учеников с телевизором, перед которым те проводят долгие часы своего досуга. Интересно, что такая возможность почти никогда не упоминается в жалобах общественности на снижение уровня образования. Может быть, это связано с тем фактом, что подобные жалобы обычно организуются хозяевами СМИ?

Можно возразить, что рано или поздно родители и ученики сообразят, что образование, состоящее из занимательных, легко усваиваемых обрывков знаний, ни к чему не ведет и, в частности, не готовит учеников к тому, чтобы занять достойное место на рынке труда. Таким образом, рынок знаний произведет автокоррекцию, и хорошие школы будут вознаграждены увеличением числа учеников. Однако в случае массовой политической коммуникации такая коррекция неосуществима. Аналогом учеников, обнаруживших, что их поверхностное образование ни на что не годится, будут люди, обнаружившие, что газеты и телепрограммы не подготовили их к тому, чтобы стать политически подкованными гражданами. Но такой проверки никогда не произойдет, по крайней мере в какой-то осозаемой форме. Люди могут смутно догадываться, что они не понимают происходящего в политике и в управлении страной, а все, что они слышат о политиках, об окружающих их скандалах и дутых сенсациях, только сильнее их запутывает. Но они будут не в силах уловить здесь какую-либо связь с логикой определенных рыночных процессов.

Для того чтобы перейти к противоположной аналогии, когда СМИ действуют по принципу школы, особого воображения не требуется. Именно так поначалу работали британская BBC и некоторые другие широковещательные компании демократического

мира. Задача этих СМИ, в формулировке BBC, состояла в том, чтобы «информировать, просвещать и развлекать». Рудименты этой модели сохранились в работе BBC и, в некоторой степени, в контролируемом секторе частного телевидения. Различные виды общественного контроля, весьма далекие от политического вмешательства, с одной стороны, обеспечивают известную защиту от непосредственного давления рынка, а с другой — обязывают к уважению иных целей, помимо быстрого привлечения внимания. Но эта модель уже довольно долго время пребывает в упадке. Возлагаемые на работников СМИ из общественного сектора обязательства следить за соотношением своего зрительского рейтинга и рейтинга их конкурентов из частного сектора неизбежно толкают первых именно к борьбе за привлечение внимания. Этот процесс интенсифицировался после того, как технологические достижения устранили прежнее ограничение на число каналов, присущее системе эфирного вещания, создав возможности для спутниковых, кабельных и цифровых услуг. Кроме того, печать и вещательные средства массовой информации начинают относиться друг к другу как к источнику сюжетов, но этот процесс становится односторонним: приоритеты печатной журналистики и частного вещания проникают и в сектор общественного вещания, в то время как необходимость быстрого привлечения внимания мешает первым двум заимствовать много новостей у последнего, если только те еще не приобрели форму, отвечающую этому требованию.

В результате коммерческая модель берет верх над другими способами осуществления массовой политической коммуникации. Политика и прочие новости все чаще рассматриваются как крайне скоропортящиеся предметы потребления. Потребитель берет верх над гражданином.

Вторая причина для обеспокоенности той ролью, которую печать, радио и телевидение играют в осу-

ществлении политической коммуникации, состоит в том, что контроль над этими СМИ сосредоточен в руках чрезвычайно узкой группы лиц. Как ни странно, развитие новых технологий передачи информации не привело к увеличению разнообразия среди ее поставщиков, если только не принимать в расчет крайне узкоспециализированные каналы. Проблема в том, что технологии, необходимые для реально массового вещания, чрезвычайно дороги, и ими могут воспользоваться лишь огромные корпорации. В Великобритании, представляющей крайний случай в этом отношении, одна-единственная компания (*News Corporation*) монополизировала спутниковое телевидение (*BSkyB*), владеет такими разными газетами, как *The Times* и *The Sun*, и обладает тесными взаимоотношениями с другими поставщиками новостей. Кроме того, *News Corporation* — международная компания лишь с частичным участием британского капитала. В Италии премьер-министр является крупнейшей, не знающей себе равных фигурой в секторе частных СМИ (а помимо этого он пользуется все большим влиянием и в секторе общественного вещания).

Даже там, где есть конкуренция, она едва ли приведет к разнообразию вследствие экономических условий, царящих на рынках СМИ. Когда поставщики новостей выявляют крупный, примерно однородный массовый рынок потребителей, они единодушно стремятся сделать его мишенью своих усилий, а это значит, что все они предлагают приблизительно одно и то же. Разнообразие появится лишь в одном из двух случаев. Во-первых, могут существовать иные формы подачи новостей, что формально наблюдалось в случае многих общественных СМИ, в чью задачу не входил охват максимально большой однородной аудитории. Во-вторых, коммерческие поставщики будут выдавать разнообразную продукцию, если в состоянии увидеть сегментированный рынок вместо однородной массы; соответственно, они могут сделать выбор

в пользу охвата отдельных сегментов. Такое происходит в случае «качественной» печати, которая нацелена на небольшой, но обычно процветающий слой высокообразованных читателей.

Контроль за политически значимыми новостями и информацией, представляющий собой жизненно необходимый ресурс демократии, оказывается в руках у очень узкой группы исключительно богатых лиц. А богатые люди, как бы сильно они ни конкурировали друг с другом, как правило, разделяют одно политическое мировоззрение и очень сильно заинтересованы в том, чтобы использовать находящиеся под их контролем ресурсы для борьбы за свои убеждения. Это не просто означает, что одни партии получат в СМИ более благоприятное освещение, чем другие; вожди всех партий знают об этой власти и чувствуют себя связанными ею при формулировании своих программ. Разумеется, наблюдаемая нами концентрация СМИ в руках немногих не произошла бы, если бы правительства полагали, что их вмешательство необходимо в интересах большего разнообразия и конкуренции. Аналогичные факторы лежат за раздающимися сейчас в большинстве демократий призывами резко ограничить роль общественных СМИ в пользу частного вещания.

## РЫНКИ И КЛАССЫ

Эта тенденция к росту политического влияния корпоративных интересов нередко подается как свидетельство высокой эффективности рынка. О том, сколько здесь иронии, можно судить по нашему обсуждению медиакорпораций. Первые, сформулированные в XVI–XVII веке свободно-рыночные экономические доктрины Адама Смита и других авторов имели целью отделить мир политики от частного предпринимательства и, в частности, покончить с предоставлением монополий и контрактов придворным фаворитам. Как мы

увидим в главе V, многие современные случаи приватизации, субподрядов и устранения границ между общественными услугами и частным сектором представляют собой возобновление именно этой сомнительной практики. Соответственно, мы наблюдаем еще один аспект движения по параболе: возвращение к корпоративным политическим привилегиям под лозунгами рынка и свободной конкуренции.

Все это может происходить лишь в обществах, утративших чувство различия между общественными интересами, которые охраняются государственными структурами, стремящимися проявить свою независимую компетенцию, и частными интересами эгоистического характера. В преддемократические времена социальные элиты, доминировавшие в экономической и общественной жизни, также монополизировали политическое влияние и свою роль в обществе. Расцвет демократии вынудил их по крайней мере поделиться своим местом на этих аренах с представителями неэлитарных групп. Однако сегодня, вследствие растущей зависимости государства от знаний и опыта корпоративных руководителей и ведущих предпринимателей, а также зависимости партий от их средств, мы постепенно движемся к созданию нового класса, доминирующего и в политике, и в экономике. Он не только приобретает все большую власть и богатство одновременно с тем, как усиливается неравенство в обществе, но и начинает играть привилегированную политическую роль, всегда служившую отличительной чертой реально доминировавших классов. К этому сводится основной кризис демократии в начале XXI века.

В популярных дискуссиях классы обычно выделяются по присущим им культурным атрибутам — акценту, одежде, типичным развлечениям. И когда конкретные наборы этих атрибутов лишаются прежней отчетливости, за этим следуют заявления о конце классового общества. Однако куда более серьезное

определение термина «класс» основывается на взаимосвязи между различиями в экономическом положении и различиями в доступе к политической власти. И в этом смысле никакого исчезновения классов не наблюдается, наоборот, налицо усиление такой связи, представляющее собой один из самых серьезных симптомов движения к постдемократии: возышение корпоративной элиты сопутствует упадку креативной демократии. Кроме того, мы видим связь между двумя проблемами, выделенными в начале данного исследования: затруднениями, свойственными эгалитарной политике, и проблемами собственно демократии. Борьба с эгалитаризмом, несомненно, является одной из ключевых политических целей корпоративных элит.

### III. Социальные классы в постдемократическом обществе

**С**овременное политическое убеждение в исчезновении социальных классов само по себе является симптомом постдемократии. В недемократических обществах классовые различия гордо и демонстративно выставляются напоказ, а от подчиненных классов требуют, чтобы они знали свое место; демократия бросает вызов классовым привилегиям от имени подчиненных классов; постдемократия же отрицает существование и привилегий, и подчинения. Хотя такое отрицание легко оспаривается путем социологического анализа, налицо несомненная трудность идентификации или самоидентификации того или иного класса в качестве четко определенной социальной группы, если не брать в расчет все более самоуверенный класс акционеров и «руководителей». Этот факт, как и вызываемая им неопределенность, является важной причиной тех проблем, с которыми столкнулась демократия.

#### ЗАКАТ РАБОЧЕГО КЛАССА

К концу XIX века во многих частях индустриализующегося мира большинство квалифицированных и часть неквалифицированных рабочих успешно объединились в профсоюзы, заявив о своем стремлении к полному политическому участию. Этот процесс всюду шел по-разному. Во Франции, Швейцарии и США созданию профсоюзов предшествовало формальное провозглашение всеобщего избирательного права для мужчин — с парадоксальным последующим ослаблением независимых трудовых организаций в этих го-

сударствах. В ряде других стран, например в Великобритании и Дании, борьба за всеобщее избирательное право потребовала длительного времени. Во многих других случаях эта борьба была тяжелой, жестокой, а в ряде стран не смогла завершиться, не пройдя через более-менее продолжительные периоды фашизма или иных репрессивных режимов. Несмотря на крайнее разнообразие путей, ведущих к демократии, почти повсюду рабочий класс сталкивался с большим или меньшим исключением из политического процесса. Ему было также присуще ощущение явного социального изгояства, так как большинство социальных групп того времени, не занимавшихся физическим трудом, считало даже квалифицированных рабочих не подходящими партнерами для социального общества. Эти факторы усугублялись сегрегацией по месту жительства, породившей расслоение большинства индустриальных городов на районы, в которых проживали лица только одного класса.

Однако этот раскол нигде не был ярко выражен, и другие различия нередко оказывались более существенными: за исключением Скандинавии, вражда между католиками и протестантами, между adeptами и противниками религии или теми и другими, вместе взятыми, нередко задвигала классовые разногласия на второй план. Впрочем, классовая политика представляла собой весьма заметное явление. Относительное социальное изгояство рабочего класса вело к тому, что его недовольство служило предметом постоянных опасений, а нищета отдельных слоев пролетариата представляла собой серьезную социальную проблему, известную в социальных католических дискуссиях как *la question sociale*. С конца XIX до третьей четверти XX века поиск ответов на проблему политического существования этого класса являлся одной из важнейших задач внутренней политики. Если в обществах с сильным влиянием католицизма рост независимых рабочих партий, а соответственно, и развертывание

открытого классового конфликта ослаблялись узами межклассового религиозного единства, то этот конфликт продолжался и в рамках собственно христианской демократии (Van Kersbengen, 1996).

На протяжении всего этого времени численность рабочего класса возрастила, а впоследствии начали увеличиваться и его доходы, благодаря чему его влияние начало сказываться не только на политике в области трудовых отношений и социального обеспечения, но и на потребительских рынках. Имелись серьезные основания для того, чтобы считать пролетариат классом будущего, а политики почти во всех партиях понимали, что их собственная судьба зависит от умения отвечать на его запросы. Более того, динамика массового капиталистического производства середины XX века полностью проявилась лишь после того, как перестройка экономики сделала возможной процветание рабочего класса.

Однако затем, с середины 1960-х годов, относительная численность рабочего класса начала снижаться — сперва в Северной Америке, Великобритании и Скандинавии, а затем этот процесс распространился на весь индустриальный мир, включая такие страны, как Италия, Франция и Испания, которые все еще испытывали упадок сельского хозяйства, связанный с ростом промышленного производства (Crouch, 1999a: ch. 4). Повышение производительности труда и автоматизация вели к сокращению числа рабочих, необходимых для выработки единицы продукции, в то время как постоянно росла занятость в административном секторе, а также в различных сферах услуг (особенно тех, что были связаны с государством всеобщего благосостояния). Закрытие многих предприятий в 1980-х и новая волна технологических изменений в 1990-х привели к дальнейшему снижению числа непосредственно занятых на производстве. И хотя в рядах рабочего класса продолжало состоять много людей, особенно мужчин, он уже не был растущим классом будущего.

К концу XX века значительная часть рабочего класса участвовала только в оборонительных, протекционистских боях. Это наиболее ясно и драматично проявлялось в Великобритании, где рабочее движение, в прошлом весьма могущественное, переживало тройной кризис, складывавшийся из чрезвычайно быстрой деиндустриализации, связанной с ослаблением индустриальной базы страны, глубокого междуусобного конфликта в Лейбористской партии и катастрофически плохо организованной забастовки шахтеров. На политическом уровне Лейбористская партия реагировала на относительный упадок рабочего класса, начавшийся еще в 1960-х, пытаясь взять под свое крыло ряд новых, растущих в численности групп, не занятых ручным трудом. Особенно привлекательной она оказалась для мужчин и женщин, работающих в сфере общественных услуг, которая в тот период вносила важный вклад в увеличение рабочих мест в непроизводственном секторе. Однако отчаянный рывок лейбористов влево, произошедший в начале 1980-х, заставил их забыть о своей исторической роли партии, смотрящей в будущее, и привел к попыткам сколотить коалицию из всевозможных разрозненных групп. На деиндустриализующемся севере, в Ливерпуле, Лейбористская партия была загнана в воинствующий пролетарский редут — ту же стратегию более долгое время с катастрофическими для себя результатами применяла Французская компартия. На новом космополитическом, постмодернистском юге, в Лондоне, предпринимались попытки создать пеструю, внеклассовую коалицию отверженных, включавшую этнические меньшинства и различные группировки, в первую очередь нетрадиционной сексуальной ориентации; по такому же пути в то время пошла и Демократическая партия США.

И ливерпульская, и лондонская стратегии были обречены на неудачу. Рабочий класс вступил в XX век в качестве класса будущего, громко заявив о себе как о выразителе коллективных интересов в эпоху, изуро-

дованную индивидуализмом: он принес с собой обещание всеобщего гражданства и возможность массового потребления в обществе, которое знало только роскошь для богатых и существование на грани выживания для бедных. К концу века он стал классом проигравших: защита государства всеобщего благосостояния теперь опирается на призывы к состраданию, а не на требования всеобщего равноправия. За сто лет пролетариат описал параболу.

Этот процесс имел свои особенности в разных странах, порой различаясь весьма существенно. В Италии, Испании, Португалии и Франции наблюдалось сползание влево, обычно следующее за упадком сельского общества, причем относительно сильные компартии этих стран избавлялись от подавляющего советского влияния. Временно это привело к усилению рабочего движения. В Германии и Австрии большое число занятых в промышленности сохранялось гораздо дольше, что снижало необходимость в серьезном пересмотре стратегии, хотя в результате к 1990-м годам рабочие движения этих стран оказались особенно неподатливыми к изменениям и адаптации. Сужение индустриальной базы серьезно ударило по рабочему движению в скандинавских странах и подорвало его гегемонистское положение в этих обществах, но важная роль, которую оно играло в предыдущие полвека, помогла ему избежать маргинализации. Однако к концу XX века серьезное и необратимое сокращение численности стало уделом рабочего класса по всему развитому миру. Британский опыт 1980-х годов служит особенно ярким, но отнюдь не исключительным примером политической маргинализации пролетариата.

#### СЛАБАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ ДРУГИХ КЛАССОВ

Гораздо труднее пересказать классовую историю остальной — в наше время подавляющей — части населения: всевозможных разнородных групп, включаю-

щих в себя лиц умственного труда, административный персонал, духовенство, работников торговли, служащих финансовых учреждений, государственных чиновников и сотрудников органов социального обеспечения. Исторически отличаясь от пролетариата уровнем образования, доходами и условиями труда, большинство этих групп не проявляло желания вставать под знамена рабочего класса и вступать в его организации. Многим из них так и не удалось занять никакой независимой позиции на политическом поле. Их профессиональные организации обычно слабы (за очень важным исключением организаций государственных служащих, а также врачей, адвокатов и т. п.); они могут отдавать свои голоса за любых кандидатов, не имея выраженных предпочтений, которые были характеры для пролетариата и буржуазии.

Из этого не следует, что представители вышеназванных групп с безразличием относятся к общественной жизни. Напротив, все они почти наверняка окажутся активными участниками организаций и групп, отстаивающих те или иные интересы. Но широкий разброс этих объединений по всему политическому спектру не позволяет им выступать единым фронтом против политической системы, выдвигая четкие требования, как это делает возрождающийся класс капиталистов и делал когда-то рабочий класс. В политическом плане они нередко находятся ближе к капиталу, поскольку при двухпартийных системах традиционно голосовали скорее за антисоциалистические, нежели за рабочие партии. Но их позиция вовсе не однозначна; например, они являются активными сторонниками гражданского государства всеобщего благосостояния, особенно в части здравоохранения, образования и пенсионной системы.

Более пристальное рассмотрение позволит нам увидеть, что и в этой усредненной массе существует своя структура. Здесь часто наблюдается расслоение на государственных служащих и занятых в част-

ном секторе, причем первые гораздо чаще объединяются в профсоюзы и имеют естественную склонность к участию в организациях и лобби, встающих на защиту общественных услуг. Приватизация значительной части государственного сектора в 1980-х и 1990-х в немалой степени была обусловлена избирательными процессами, поскольку в некоторых странах правоцентристские партии, противопоставив себя государственным служащим как классу, старались сократить их численность. (На исходе века левоцентристские партии начали прибегать к той же политике, что привело к их конфликту с ядром своего избирателейского электората.)

Налицо также важное иерархическое деление. У низовых офисных работников нет почти ничего общего с высшим руководством — и по своим доходам, и по образовательному уровню первые нередко уступают квалифицированным рабочим. Существенную роль играют и гендерные различия. В целом (хотя, разумеется, не без исключений) чем ниже статус, тем меньше оклад, а чем ниже образовательный уровень лица, занятого в непроизводственной сфере, тем с большей вероятностью оно будет иметь женский пол. Гендерные различия порождают в иерархическом непролетарском коллективе офиса или магазина не менее острый культурный раскол, чем тот, что существует между производственным и непроизводственным трудом на заводе.

Если предположить, что старший управленческий персонал и представители высокооплачиваемых профессий имеют все основания для того, чтобы встать на сторону политических интересов капитала (если только они не работают в сфере общественных услуг), то вопрос о том, почему нижние уровни иерархии «белых воротничков» не проводят свою собственную политику, становится практически равнозначен вопросу: почему женщины не превратились в независимую политическую силу, выступающую от лица низших непроизводственных классов, так, как это сдела-

ли мужчины от лица квалифицированного рабочего класса? Этот вопрос настолько важен для состояния современной демократии, что ниже мы рассмотрим его более подробно.

На это объяснение слабой выраженности интересов, присущих низам среднего класса, можно возразить, что политики почти маниакально одержимы именно этой группой и стараются отвечать на все ее запросы. Однако эти запросы так обрабатываются политической системой, что становятся неотличимы от запросов бизнеса. Этим на протяжении многих лет весьма небезуспешно занимаются правоцентристские партии, стремящиеся не допустить того, чтобы эти слои вступили в прочный союз с рабочими. Если такие реформистские группы, как британские новые лейбористы, по меньшей мере успешно конкурируют с правоцентристами за поддержку со стороны этих слоев, то лишь потому, что начали использовать точно такой же подход, а не потому, что выражают их более широкие интересы, которые могут причинить неудобство корпоративной элите. Дело погодится так, будто у низов среднего класса нет других причин для недовольства, кроме качества государственных услуг, из чего все чаще делается вывод, что эти услуги необходимо приватизировать. Этим людям внушается нежелание искать иные способы повышения своего социального статуса, кроме как послушно карабкаться вместе со своими детьми по карьерной лестнице, выстроенной бизнес-элитами. Этим и объясняется навязчивая озабоченность современных политиков образованием, поскольку оно представляется основным и надежным средством социальной мобильности. Но так как последняя доступна лишь меньшинству, и то в условиях острой конкуренции, то очень странно предлагать такую политику в качестве универсального решения всех жизненных проблем. Эта задача может быть временно решена на политическом, но не реальном уровне, если науськивать

родителей большинства учеников на их учителей, ставя тем в вину недостаточные успехи детей.

Таким образом, политика по отношению к новым социальным категориям, возникшим в постиндустриальной экономике, в достаточной мере соответствует постдемократической модели: именно эти категории чаще всего становятся объектами политического манипулирования, самой же этой группе по большей части присуща пассивность и недостаток политической независимости. Это неудивительно, поскольку эти слои численно выросли в течение постдемократического периода. Как ни странно, они не вписываются в нашу параболу. Служащие непроизводственного сектора в прошлом не подвергались политическому исключению, поскольку их число в преддемократический период было очень мало; на волне демократизации они играли пассивную роль, держась в стороне от борьбы активных сил большого бизнеса и организованного (в основном физического) труда за достижение социального компромисса. В результате этот слой мало что получил для себя от постдемократии.

## ЖЕНЩИНЫ И ДЕМОКРАТИЯ

Тем не менее в недавнее время мы стали свидетелями серьезного исключения из этой модели пассивности: речь идет о политической мобилизации женщин. На поставленный выше вопрос, почему в историческом плане со стороны женщин почти не наблюдалось независимого выражения профессиональных требований политического характера, легко дать ответ. Во-первых, женщины в качестве хранителей семьи, то есть будучи занятыми в непроизводственной сфере, в течение долгого времени были менее склонны, чем мужчины, ставить свои политические взгляды в зависимость от места работы. Они реже участвовали во всевозможных организациях, за исключением церковных. В силу сложных причин, в которые

## III. Социальные классы...

мы сейчас не будем вдаваться, в большинстве европейских стран представителями этих семейных и религиозных интересов являлись консервативные партии. Хотя за последние тридцать лет многие женщины вступили в ряды рабочей силы, большинство из них работает на полставки и, соответственно, не разорвало тесных связей с домашней сферой.

Во-вторых, если мужчины, как пол, уже проявивший активность в общественной жизни, в свое время могли создавать союзы и движения, не опасаясь того, что кто-либо стал бы рассматривать мужской характер этих организаций как своего рода атаку на женский пол, то в отношении женщин, создающих свои организации вдогонку за уже существующими мужскими, наблюдалась совершенно противоположная ситуация. Выражение женского мировоззрения воспринималось как критика мужских взглядов. С учетом того, что большинство людей связано с обществом через семью, женщинам сложно выражать свои специфические интересы, связанные с их преимущественно женскими профессиями, не вызывая трений в семье и имея сколько-нибудь серьезный шанс на создание собственных сообществ. Неслучайно откровенно феминистские организации обычно выражают интересы одиноких женщин более эффективно, чем замужних.

Однако с начала 1970-х годов эта ситуация стала меняться. Происходила мобилизация — или, точнее, центральный спектр мобилизаций — женских идентичностей и их политического выражения. Наряду с движением зеленых она представляла собой самый важный современный пример демократической политики в ее позитивном, творческом смысле. Это явление развивалось по классическому образцу массовых мобилизаций. Оно зародилось в узком кругу интеллектуалов и экстремистов, затем вырвалось оттуда, выражаясь сложными, многообразными и неконтролируемыми способами, вытекавшими, однако, из фундаменталь-

ного требования всех великих движений: выявления невыраженной идентичности, ведущего к формулировке интересов и к созданию формальных и неформальных группировок, представляющих эти интересы. Как и всякое великое движение, оно застало существующую политическую систему врасплох и с трудом поддавалось манипуляции. Кроме того, в своем развитии оно оставалось неподконтрольно официальным феминистским движением. Возможно, первые феминистки, стремясь мобилизовать своих сестер, и не собирались создавать ничего подобного феномену *Girl Power*, но характерной чертой всяко-го по-настоящему крупного социального движения является его способность принимать всевозможные, нередко неожиданные и противоречавшие друг другу формы.

В феминизме присутствуют все ключевые ингредиенты значительного демократического явления: экстремисты-радикалы, трезвые политики-реформаторы, хитрые реакционеры, подхватившие лозунги движения и подающие их в диаметрально противоположном ключе, всевозможные культурные проявления и элитарного, и массового характера, постепенное проникновение в язык простых людей отдельных элементов языка этого первоначально эзотерического движения. Со временем и политическая система начала реагировать на требования женщин при помощи весьма разносторонней политики. Параллельно с этим возрастал интерес политических и деловых элит к вовлечению женщин в ряды рабочей силы. Странноватое и, возможно, нестабильное состояние современных гендерных взаимоотношений, при котором явно подразумевается, что и мужчины, и женщины должны работать, но при этом женщины все равно остаются главными хранителями семьи, делает женщин идеальными кандидатами для должностей на полставки; так удовлетворяется потребность компаний в гибкой рабочей силе. А государство радует-

ся увеличению числа налогоплательщиков, связанному с массовым выходом женщин на работу. Но это отнюдь не снижает значения феминистского движения, а лишь его укрепляет. В конце концов, политический рост рабочего класса точно так же сопровождался распространенной зависимостью экономики от его потребительских возможностей.

Вышеперечисленные факторы продолжают сдерживать способность женщин к политической независимости, но весь опыт феминизма представляет собой островок демократии в рамках общего наступления постдемократии, напоминая нам о том, что важные исторические тенденции порой можно переломить.

### ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО РЕФОРМИЗМА

С учетом вышеизложенного мы легко можем оценить положение так называемых реформаторских группировок во многих левоцентристских партиях, таких как «Третий путь», новые лейбористы, *Neue Mitte* или *riformisti*. Бывшая социальная база их партий стала ассоциироваться с упадком, уходом в оборону и поражением, перестав служить надежным отправным пунктом для установления контактов с обращенными в будущее явлениями — либо происходящими в рамках электората, либо связанными с животрепещущими проблемами. Организации, призванные доводить до политиков чаяния народа — сами партии и связанные с ними профсоюзы, — все сильнее отдаляются от точек роста в среде электората и рабочей силы и подают дезориентирующие сигналы в отношении политических приоритетов новых людских масс постиндустриального общества.

Особое место в этом отношении занимают британские новые лейбористы. Как отмечалось выше, британский пролетариат, когда-то составлявший фунда-

мент одного из наиболее мощных рабочих движений в мире, в начале 1980-х пережил ряд особенно болезненных поражений. Лейбористская партия и профсоюзы отчаянно шарахнулись влево именно в тот момент, когда развалилась прежняя социальная база левой политики. Эти события поставили во главе партии новых людей, самым решительным образом настроенных отмежеваться от ее недавнего прошлого. Однако в результате такой стратегии партия лишилась сколько-нибудь четко выраженных социальных интересов — за крайне многозначительным исключением существенно большего внимания к насущным женским вопросам, нежели того, что было свойственно консерваторам и лейбористам прежних эпох, чего, собственно, и следовало ожидать в контексте предшествующего обсуждения. Но во всех прочих отношениях смену лейбористов новыми лейбористами можно понимать как результат кошмарных 1980-х, когда демократическая модель утратила свою жизнеспособность, как замену партии, пригодной для демократической политики, на партию, пригодную для постдемократии.

Это позволило Лейбористской партии постепенно отказаться от своей прежней социальной базы и стать партией для всех, в чем лейбористам сопутствовал исключительный успех. За исключением шведской Социал-демократической партии, британская Лейбористская партия за последние годы добилась наиболее впечатляющих электоральных результатов из всех европейских партий левоцентристского толка. (Следует, однако, отметить, что в значительной степени такой успех был обусловлен особенностями британской избирательной системы, которая затрудняет организованную критику партийного руководства и в то же время наделяет непропорциональным влиянием в парламенте ту партию, за которую избиратели отдали больше всего голосов.)

Но партия, не имеющая конкретной социальной базы, все равно что существует в пустоте, а именно

этого не терпит политическая природа. Эту пустоту бросились заполнять окрепшие корпоративные интересы, воплощенные в новой агрессивной и гибкой модели компании, цель которой — максимизация акционерной стоимости. Этим объясняется парадокс правительства новых лейбористов. Оно выступало в качестве новой, свежей, модернизирующей силы, нацеленной на перемены; но ее повестка дня в области социальной и экономической политики чем дальше, тем все явственнее становилась продолжением предшествовавших восемнадцати лет неолиберального правления консерваторов.

То, что британские новые лейбористы выходят за рамки сближения и сотрудничества с деловыми интересами, характерного для всех социал-демократических партий, и превращаются в партию деловых кругов, доказывается целым рядом моментов, среди которых не последнее место занимают проявившиеся в течение 1998 года необычные отношения между многими министрами, их советниками, профессиональными лоббистами, за деньги обеспечивающими доступ компаний к министрам, и самими этими компаниями. В той степени, в какой некоторые из этих действий предпринимаются с целью поиска источников партийного финансирования среди бизнесменов взамен прежнего финансирования со стороны профсоюзов, они самым непосредственным образом вытекают из вставшей перед лейбористами дилеммы поиска иной социальной базы взамен рабочего класса. В итоге мы получаем многообразные последствия, позволяющие увязать данную дискуссию с приведенной в предыдущей главе дискуссией о политическом усилении корпоративной элиты и с ожидающей нас в следующей главе дискуссией об изменениях во внутренней структуре политических партий.

Новые лейбористы остаются исключительным примером среди европейских левоцентристских реформаторов — и в том отношении, что они зашли даль-

ше всех прочих, и в том, что добились значительных электоральных успехов, вызывая зависть у многих братских партий. Однако данная тенденция наблюдается почти повсеместно; собственно, в смысле довольно сомнительного поиска источников финансирования среди деловых кругов новые лейбористы, возможно, запятали себя не так сильно, как их коллеги из Бельгии, Франции или Германии. В политическом плане, если *Neue Mitte* в Социал-демократической партии Германии или *riformisti* в итальянской Партии демократических левых сил еще не сделали такого решительного шага навстречу бизнесу, как новые лейбористы, то лишь потому, что они по-прежнему готовы идти на серьезный компромисс с профсоюзами и другими составляющими индустриального общества, а не потому, что нашли формулу для выражения принципиальных интересов нового эксплуатируемого населения постиндустриального общества.

Одновременно с тем потенциальная радикальная и демократическая повестка дня не находит себе применения. В более чистых рыночно-ориентированных обществах, к которым мы движемся, резко усиливается неравенство в доходах, а также относительное и даже абсолютное обнищание. Возрастающая гибкость рынков труда делает жизнь очень нестабильной — по крайней мере для нижней трети трудящегося населения. В то время как сокращение занятости в промышленном производстве и в угледобыче снизило долю грязной и опасной работы, занятость в новом секторе услуг имеет свои отрицательные стороны. В частности, работа в быстрорастущем секторе личных услуг нередко влечет за собой подчинение трудящегося нанимателям и клиентам, возрождающее многие унизительные черты прежнего мира домашней прислуги.

Современные трудовые проблемы подстерегают не только нижнюю треть трудящихся. Даже получатели высоких окладов сталкиваются с тем, что работа

отнимает все большую часть их жизни, принося с собой ненужные стрессы. Процессы экономии, в последние годы приводившие во многих организациях государственного и частного сектора к снижению расходов на рабочую силу, привели к чрезмерной трудовой нагрузке на многих уровнях. Для многих наемных работников выросла продолжительность рабочего дня. Поскольку теперь в рамках формальной экономики заняты и мужчины, и женщины, это приводит к сокращению времени на досуг и семейную жизнь. И это происходит в эпоху, когда родителям приходится уделять все больше усилий на то, чтобы помочь своему потомству преодолеть все более усложняющийся период детства. Угроза всевозможных девиаций и давление со стороны тех сфер капитализма, которые открыли для себя исключительную восприимчивость детей как потребителей, дополняются отчаянной потребностью добиваться успехов в образовании с целью достойно проявить себя в состязании за рабочие места, которое приносит все более щедрые награды победителям и все более суровое наказание побежденным. Недостатки государственных служащих ни в коем случае не являются главным источником принимающей политизированные формы неудовлетворенности их работой, что бы нам ни пытался внушить текущий политический консенсус.

Политики порой утверждают, что государству становится все труднее принимать меры защиты от кипризов рынка вследствие явного нежелания современного населения платить налоги. Однако возражать им, что объективная необходимость в этих мерах уже не существует и не может быть превращена в политический вопрос партией, всерьез желающей привлечь к нему внимание, — дело достаточно безнадежное. Приоритетное место в любой объективной политической повестке дня занимают проблемы, с которыми мы сталкиваемся на работе. Такая повестка могла бы объединить новые и старые сегменты рабочей силы.

Партии, реально стремящейся представлять интересы этого объединенного слоя, не придется тратить много времени на поиски ответа.

В течение нескольких лет казалось, что нидерландская Партия труда нашла такую формулу, удачно сочетающую гибкость рабочей силы с заново сформулированными правами трудящихся, что стало одним из фактором, способствовавших «чудесному» сокращению безработицы в Голландии в последние годы (Visser and Hemerijck, 1997). Поэтому поражение этой партии и ее коалиционных партнеров на первых выборах 2002 года, отмеченных сенсационным, хотя и недолгим триумфом «Списка Пима Фортейна», стало очень тревожным событием. Оно может быть объяснено тем, что Партия труда так и не сумела разработать новую стратегию создания в Голландии рабочих мест в качестве партийной политики, проводимой в интересах новых, недавно сформировавшихся групп трудящихся, хотя на практике именно это она и делала. Та политика, которую она провозгласила — и, видимо, по стратегическим соображениям должна была провозгласить, — представляла собой классовый компромисс, консенсус, охватывающий весь политический спектр. В этом качестве Партия труда не могла сыграть серьезной роли в смелом озвучивании интересов новых трудящихся, а вместо этого, возможно, лишь способствовала созданию у голландских избирателей ощущения, порождающего стремление к новой «ясности», обещанной Фортейном и его сторонниками, что правящие страной политики погрязли в компромиссах. В отсутствие новых озвученных классовых интересов эта «ясность» проявляется почти в единственной доступной из альтернативных форм, а именно в форме национальной и расовой идентичности, противопоставляемой иммигрантам из числа этнических меньшинств.

Аналогичным образом можно объяснить ряд других заметных поражений правящих социал-демокра-

тических партий в 1990-х, при том что эти партии имели хороший послужной список в отстаивании интересов трудящихся как производственной, так и не-производственной сферы. Австрийские и датские социал-демократы, подобно голландским, проводили новую прогрессивную политику в коалициях с теми или иными из своих главных соперников. Французские социалисты уживались с правоцентристским президентом. Коалиция «Оливковая ветвь» в Италии не смогла погасить трений между входящими в нее левыми и центристскими партиями, чьи раздоры препятствовали выработке какой-либо политической повестки дня. В каждом из этих случаев была разработана хорошая программа новой политики в сфере занятости, но она так ни разу и не сумела внести свой вклад в процесс поиска новой идентичности, потому что сформировалась в рамках правительенного консенсуса, а не в ходе политической борьбы.

Более значительный успех шведских социал-демократов на национальных выборах 2002 года подтверждает это предположение, так как, находясь у власти, они добились некоторого прогресса в выполнении аналогичной повестки дня, не имея нужды в создании коалиции с партиями, представляющими совершенно иные интересы. Пример иного рода дает нам почти чудесное выживание коалиции красных и зеленых в Германии. Их правительство не слишком обременяло себя выполнением повестки дня в сфере занятости по голландскому или французскому образцу, однако в Германии сохраняется более высокая (хотя и снижающаяся) доля занятых в промышленности по сравнению с большинством других развитых стран. Соответственно, потребность в реформах здесь менее велика. Однако такая ситуация долго не продлится, и германская социал-демократия вскоре тоже столкнется с проблемой выбора постиндустриальной политики.

Вместе с тем крайне существенным представляется то, что в каждом из тех случаев, когда левоцент-

ристские силы попадались в коалиционную ловушку или брали на себя обязательства сосуществования, вызванные попыткой создать и мобилизовать на свою поддержку новые партийно-ориентированные социальные идентичности, победителями, хотя порой очень ненадолго, в контексте левоцентристского поражения оказывались партии, представляющие националистическую, антииммигантскую или расистскую политику, то есть опирающиеся на ясные и бескомпромиссные идентичности. Временный характер их успехов говорит о том, что расизм сам по себе не столь важен, как стремление масс к политике, хотя бы по видимости откликающейся на людские нужды и не ограничивающейся интересами сложившихся политических и социальных элит.

#### **IV. Политическая партия в условиях постдемократии**

**В** учебниках по политическим наукам взаимоотношения между партиями и их избирателями обычно строятся по принципу взаимосвязанных кругов возрастающего размера: самый малый круг включает в себя руководящее партийное ядро и его советников; в следующий круг входят депутаты партии в парламенте; далее — активные партийцы, тратящие много своего времени на партийную работу в качестве представителей местных госструктур, местных активистов, наемного персонала; затем — обычные члены партии, почти не работающие на нее, но желающие сохранять символическую связь с ней, время от времени помогающие в проведении отдельных мероприятий и регулярно выплачивающие членские взносы; потом — сторонники, или местные избиратели, не делающие для партии практически ничего, кроме дисциплинированного голосования за нее в день выборов; и наконец, самый большой круг — широкий целевой избирательный электорат, который партия агитирует отдать за нее свои голоса.

В чистой модели демократической партии эти круги являются концентрическими: вождей набирают из числа активистов, тех набирают из обычных партийцев, те же входят в состав тех слоев избирателей, которые партия стремится представлять и, соответственно, разделяют их чаяния и интересы. Основная функция промежуточных кругов состоит в том, чтобы обеспечить двустороннее взаимодействие между политическими вождями и избирателями через различные партийные уровни.

Модель такого типа особенно важна для имиджа, создаваемого себе партиями рабочего класса, а также

региональными и сепаратистскими партиями и даже некоторыми христианско-демократическими и фашистскими партиями. Такие партии возникают вне парламента в качестве социальных движений, а затем добиваются парламентского представительства. Однако на протяжении XX века социальная база приобретала все большее значение и для старых партий, зародившихся внутри политической элиты и впоследствии вынужденных сколачивать для себя национальные движения, к чему их вынуждает эпоха демократии. По иронии судьбы эти партии стали все сильнее подавать себя в качестве партий того или иного движения как раз в тот момент, когда наступление постдемократии делает прежнюю модель партии как узкой политической элиты более жизнеспособной.

Подобно всем идеалам, демократическая модель концентрических кругов никогда не существовала в реальности. Однако в различные эпохи наблюдается то приближение к ней, то, напротив, удаление, и было бы полезно рассмотреть эти тенденции. Внутри любой организации, в общих чертах соответствующей демократической модели, возникают трения, когда руководство начинает подозревать, что активисты являются крайне нетипичными представителями избирателей, пусть даже самого лояльного; и поскольку те сами себя выбрали на эту роль, это подозрение, скорее всего, верно. В таком случае следует ожидать, что руководство воспользуется иными методами, чтобы узнать настроения избирателей. Вплоть до середины XX века и изобретения опросов общественного мнения сделать это было трудно, и именно тогда активные члены партии успешно заявляли свои претензии на то, чтобы интерпретировать позицию избирателей. В наши дни все обстоит иначе.

Трения становятся еще заметнее, когда руководство полагает, что социальная база, обеспечиваемая местным избирательным округом, слишком мала, и начинает вербовать себе сторонников в среде массового избирателя.

Если этот процесс включает заигрывание с группами, враждебными интересам партийных активистов и ни в коем случае не входящими в концентрическую структуру существующей партии, то неизбежен конфликт. Если те или иные из этих групп удастся привлечь в партию в качестве ее активных членов, то конфликт происходит среди самих активистов, но партия переживает конструктивное обновление. Если новые группы оказываются задействованы лишь при опросах общественного мнения и при других вариантах внепартийной работы, тогда возникает возможность необычной связи между самым внешним и самым внутренним из концентрических кругов, минуя все промежуточные связи.

### ВЫЗОВ ПОСТДЕМОКРАТИИ

Недавние изменения, в том числе и те, что упоминались в предыдущих главах, посвященных укреплению компаний и разрушению классовой структуры, весьма существенно сказались на концентрической модели. Еще одним новшеством стало резкое разрастание слоев советников и лоббистов, окружающих руководящее ядро. Хотя все эти три группы — вожди, советники и лоббисты — разделены довольно четко, на практике отдельные лица постоянно переходят из одной группы в другую, совместно составляя особый слой политиков.

Этот процесс изменяет форму руководящего ядра по отношению к остальным кругам партии. Оно превращается в эллипс, причем начинается этот процесс, как всегда, в тот момент, когда партийные вожди и профессиональные активисты, составляющие сердцевину партии, стремятся либо вознаградить себя, попав в руководство, либо добиться политических успехов в качестве нематериального вознаграждения. Но есть и те, кто, сочувствуя партии и ее целям, работают на нее все же в основном ради денег. Сре-

ди них есть чистые профессионалы, нанятые партией для определенной работы и не обязательно являющиеся ее политическими сторонниками. Что более важно, все эти группы перекрываются и взаимодействуют с группами лоббистов, работающих на компании, стремящимися установить контакты с политиками, чьи действия затрагивают их интересы. Как было показано в главе II и будет рассмотрено более подробно в главе V, любая партия, входящая в правительство или имеющая к этому возможности, в наши дни принимает серьезное участие в приватизации и выдаче субподрядов. Компаниям, желающим на этом наружиться, порой крайне необходимо налаживать связи с государственными структурами. Субподряды в этом плане более важны, поскольку они обычно связаны с услугами, которые выражают суть выполняемой политики и в силу этого не могут быть полностью приватизированы; выдаваемые же на них подряды подлежат периодическому переоформлению. Компаниям, желающим участвовать в этом бизнесе, настоятельно рекомендуется сохранять постоянные контакты с ядром правящей партии, принимающим политические решения. Представители компаний регулярно общаются с кругом партийных советников, а те получают в этих компаниях работу штатных лоббистов. Таким образом центральное ядро, прежде являвшееся внутренним кругом партии, растягивается, превращаясь в эллипс, вытянутый далеко за ее пределы.

Все партии поражены этой тенденцией. Она лежит в основе многих коррупционных скандалов, жертвами которых становятся партии всех оттенков в современных развитых обществах. С тех пор как идея особого статуса государственной службы была объявлена нелепой и смехотворной, а высшей целью человеческого существования провозгласили стремление к личной наживе, политики, советники и все прочие предсказуемо стали считать продажу своего политического влияния важнейшим и абсолютно ле-

гитимным аспектом своего участия в политической жизни. Однако общая для всех проблема эллиптического растяжения политической элиты создает особые трудности для социал-демократических партий, поскольку их члены и избирательное ядро значительно сильнее удалены от элиты, чем в правоцентристских партиях. Особенно неприятными стали для социал-демократов последствия произошедших в 1980-х изменений в классовой структуре, о чем шла речь в главе III. После того как численность рабочего класса сократилась, партийные активисты, обращавшиеся в основном к этому классу, стали приносить меньше пользы в качестве связующего звена между руководством и широким избирателем. Руководство, естественно, попыталось вырваться из этой исторической ловушки и стало все чаще обращаться к специалистам по общественному мнению. И хотя трения подобного рода всегда были присущи концептуальной модели, в период масштабных классовых изменений они могли стать неуправляемыми. Процедуры, используемые для выявления мнения новых групп, носили пассивный и односторонний характер; независимая мобилизация самих этих групп почти никак не давала о себе знать. А итогом обращения к экспертам стало дальнейшее искажение структуры партийного руководства и усугубление ее эллиптического характера.

Главная историческая ценность активистов для партийного руководства заключалась в их вкладе в привлечение избирателей — что они делали либо непосредственно, жертвуя своим временем, либо посредством финансовых вкладов и сбора средств. Но новая эллиптическая структура пытается и в этом отношении предложить хотя бы частичную альтернативу. Компании, все сильнее сплачивающиеся вокруг партийного руководства, могут снабжать партию деньгами ради их использования в национальных кампаниях, особенно телевизионных, которые по большей ча-

сти заменили собой местных активистов в процессе сбора голосов.

С точки зрения партийного руководства, отношения с новым эллипсом более просты, более четки и окупаются гораздо лучше, чем отношения с прежними кругами активистов. Опыт тех, кто входит в состав эллипса, намного полезнее, чем тот дилетантский энтузиазм, который может предложить обычный партийный активист, не имея за душой ничего другого. Если экстраполировать тенденции последнего времени, то в качестве классической партии XXI века можно назвать организацию, состоящую из самовоспроизводящейся внутренней элиты, далекой от массовых движений, которые служат для нее базой, и в то же время уютно устроившейся среди нескольких корпораций, которые, в свою очередь, финансируют выдачу подрядов на проведение опросов общественного мнения, услуги политических советников и труды по привлечению избирателей в обмен на обещание партии в случае ее прихода к власти щедро вознаградить компании, стремящиеся к политическому влиянию.

В настоящее время существует практически только один чистый пример такой партии, и это правая, а не социал-демократическая партия — итальянская «Вперед, Италия!». После краха Христианско-Демократической и Социалистической партий, вызванного коррупционными скандалами в начале 1990-х, предприниматель Сильвио Берлускони — на самом деле тесно связанный с прежним режимом — собрал ресурсы обширной сети своих предприятий и быстро заполнил вакuum, который в противном случае обеспечил бы быстрый приход к власти тогдашней Коммунистической партии. В число его предприятий входили: телевизионные каналы, издательство, крупный футбольный клуб, финансовая империя, ведущая сеть супермаркетов и т. д. Спустя всего несколько месяцев Берлускони создал одну из ведущих партий итальянского государства, и, несмотря на различные пре-

вратности, в основном связанные с коррупционными скандалами, она остается таковой и поныне. Первоначально в «Вперед, Италия!» вообще не было ни членства, ни активистов как таковых. Многие из функций, обычно выполняемых добровольцами, осуществлялись наемными работниками различных предприятий Берлускони. Во внешнем финансировании, естественно, не было нужды, а кроме того, человек, владеющий тремя национальными телеканалами, общенациональной газетой и популярным еженедельным журналом, не нуждается в партийных активистах, чтобы донести до избирателей свои взгляды.

«Вперед, Италия!» — пример политической партии, порожденной силами, выявленными в главе II: по сути, это компания или сеть компаний, а не организация типа классической партии; она не возникла для озвучивания интересов какой-либо социальной группы, а была целенаправленно сконструирована представителями существующей политической и финансовой элиты. Кроме того, она выстроена вокруг личности своего вождя, а не вокруг какой-то конкретной партийной программы. Как отмечалось в главе I, само по себе это крайне характерно для постдемократии.

Однако история партии «Вперед, Италия!» также показывает, что для такой партии нового типа время еще не вполне настало. С годами она стала все сильнее напоминать классическую партию: у нее появились членство и структура местных добровольцев, и в результате она добилась более заметных успехов. Ключевым фактором в данном случае являлось значение местных итальянских властей как важнейшего связующего звена между народом и политиками и как животворной силы политических партий. «Вперед, Италия!» без сторонников на местах и без реального членства не смогла бы обеспечить фактического, а не виртуального присутствия среди избирателей — и повседневного присутствия, и получения голосов

избирателей в день выборов. Пойдя таким путем, «Вперед, Италия!» начала добиваться успехов в местной политике, соответствующих ее позиции на национальном уровне, — хотя отчасти благодаря усилиям Берлускони, который с помощью своих телестудий, по сути, превратил местные выборы в слепок национальной политики.

То, что отказываться от услуг местных активистов преждевременно, видно также на примере новых лейбористов. Эта партия добилась крупных успехов в привлечении источников корпоративного финансирования, тем самым избавившись от зависимости от профсоюзов и массового членства. Однако политика нового типа, завязанная на чрезвычайно интенсивном присутствии в СМИ и на услугах наемных профессионалов, оказалась очень дорогостоящей. Нужда партии в деньгах возросла многократно. Миллионеры не заменили собой членов профсоюзов, потому что теперь, когда выборы обходятся в колоссальные суммы, партия не может отказаться ни от одного из источников финансирования. Но шаги, необходимые для привлечения новых, богатых спонсоров из деловых кругов, могут вполне оттолкнуть от партии других сторонников.

Одним из факторов, обусловивших нынешнюю волну коррупционных скандалов, которая затронула партии всех типов в ряде стран, включая Бельгию, Францию, Германию, Италию, Японию и Испанию, стала остройшая потребность в средствах для финансирования современных предвыборных кампаний. Только безрассудная партия стала бы отказываться от поддержки со стороны рядовых членов и профсоюзов в пользу корпораций, если она может получать деньги и от тех, и от других. По иронии судьбы именно затраты на профессиональную организацию предвыборных кампаний толкают современные партии обратно в объятия традиционных активистов и в то же время провоцируют их на всякого рода со-

мнительные поступки. В настоящий момент все эти силы находятся в состоянии неуютного сосуществования и взаимной подозрительности.

Во вступительной главе указывалось, что постдемократический период сочетает собственные характерные черты с чертами демократического и преддемократического периодов. То же самое можно сказать о современной политической партии. Наследие демократической модели, пусть и не обладая серьезными возможностями для самообновления, живет и продолжает играть важную роль, проявляясь в зависимости вождей от традиционной массовой партии с ее концентрической структурой. Новый эллipsis, охватывающий, с одной стороны, партийное руководство, а с другой — консультантов и внешних лоббистов, парадоксальным образом сочетает в себе черты и постдемократии, и преддемократического прошлого. Он постдемократичен в той степени, в какой связан с характерными для этого периода опросами общественного мнения и работой экспертов-политологов, а преддемократичен в том отношении, что обеспечивает привилегированный доступ к политике со стороны частных компаний и коммерческих интересов. Противоречия, существующие внутри современной левоцентристской партии, — это противоречия, характерные для самой постдемократии. Тот факт, что новые классы не подверглись мобилизации, приводит к курьезному сочетанию старой социальной базы и новых источников финансирования.

## V. Постдемократия и коммерциализация гражданства

**И**деалы и реалии общественных услуг и государства всеобщего благосостояния, ставшие рождением XX века, сыграли фундаментальную роль в процессе демократизации политики. Иногда — в первую очередь в скандинавских странах — они являлись прямым достижением демократической борьбы. В других местах, например в Германии до Первой мировой войны, они создавались как паллиативы, имеющие целью ослабить демократический натиск. Но в любом случае они были так или иначе связаны с этой борьбой. Когда же демократия вступила во вторую половину XX века, качество общественных услуг стало ключевым параметром, определяющим характер и качество социального гражданства. Во всем развитом капиталистическом мире модель гражданского государства существовала параллельно с сильным рыночным сектором. Взаимоотношения между социальным государством и рыночной зоной всегда носили сложный характер и значительно различались от страны к стране, но почти повсюду получила распространение идея о том, что серьезное дело социального гражданства необходимо как-то дистанцировать от рыночной конкуренции и прибыли. Это предположение было фундаментальным для идеи демократического гражданства, поскольку подразумевало систему распределения и принятия решений, лишенную неравенства, которое было свойственно капиталистическому компоненту общества. Противоречия между эгалитарными требованиями демократии и неравенством, вытекающим из природы капитализма, устра-

нить невозможно, но здесь все равно возможны более или менее конструктивные компромиссы.

В наши дни эти допущения становятся предметом серьезных сомнений; все более могущественное лобби деловых интересов задаются вопросами: почему общественные услуги и политика социального обеспечения не могут быть, подобно всему остальному, использованы для извлечения прибыли? Почему коммерческие рестораны и парикмахерские допустимы, а школы и службы здравоохранения — нет? Стоит ли нам бояться коммерциализации общественных услуг? И имеют ли дискуссии о приватизации какое-либо отношение к проблеме постдемократии? Все это требует серьезного рассмотрения.

Попытки сочетать сферу услуг, которые до сего момента оказывало преимущественно государство, с капиталистической практикой принимают самые разные формы: рынки в рамках госсектора; приватизация при полной рыночной свободе или в ее отсутствие; выдача подрядов на крупные строительные проекты и на оказание услуг, порой в отсутствие приватизации либо рынков. Взаимосвязь между рынком и частной собственностью не столь однозначна, как принято считать. Несомненно, полная свобода рынка наряду с частной собственностью на экономические ресурсы создает условия для эталонного капитализма, описанного в учебниках по экономике, и два этих критерия вполне сочетаются друг с другом. Однако вполне возможны и рынки без частной собственности: ведомство, распоряжающееся коллективными ресурсами, может использовать систему цен и талонов с целью создания рынка для распределения этих ресурсов в рамках государственных или благотворительных организаций. Такая идея стояла за многими реформами социальных услуг в 1980-х годах, особенно в Великобритании, которые нередко предшествовали реальной приватизации. От госучреждений требовалось торговаться услугами с другими организа-

циями так, как если бы они находились в рыночных условиях, отказавшись от профессионально-коллегиальной модели, прежде регулировавшей их взаимоотношения. В качестве важного примера можно упомянуть внутренний рынок, созданный в рамках Национальной службы здравоохранения.

Для обозначения всех этих практик мы будем пользоваться обобщенным термином «коммерциализация», поскольку каждая из них строится на идее о том, что качество общественных услуг возрастет, если существующие практики и этос государственной службы будут частично заменены практиками и этосами, типичными для коммерческого сектора. Такой термин более точен, чем «маркетизация», поскольку ряд из происходящих сейчас процессов ведет к искаению рынка вместо его очищения. Кроме того, «коммерциализация» — более общий термин по сравнению с «приватизацией», поскольку та, строго говоря, относится только к передаче тех или иных активов в другие руки.

Величайшие достижения капитализма и его господство связаны с индустриализацией. Созданная последней возможность массового производства потребительских товаров привела к раскручиванию спирали инвестиций в заводы и оборудование, производства и продажи товаров и дальнейшего инвестирования прибыли от этой продажи: этот механизм и стал основой богатства и процветания XIX–XX веков. Но капитализм расширяет свои рамки, не только создавая новые товары и производственные методы, но и энергично распространяясь на все новые и новые сферы жизни. Посредством процесса, известного как коммодификация, человеческая деятельность, происходящая вне рамок рынка и системы накопления, втягивается в их пределы. И это относится не только к производству материальных товаров, но и к услугам. Собственно, капитализм зародился в Европе на излете Средневековья именно в секторе услуг, главным об-

разом в банковском деле, которое в последние десятилетия снова стало его фундаментом, — мы опять видим движение по параболе.

Капитализм может расширить свои пределы, если услуги, которые ранее воспринимались как общественные или семейные обязательства, переводятся в область наемного труда и становятся оплачиваемыми. Многие политические конфликты прежних двух столетий были связаны с барьерами, которые всевозможные иные силы, такие как церковь или рабочий класс, пытались возвести вокруг агрессивного капитализма, стремящегося подмять под себя все новые и новые сферы жизни. В конце концов противоборствующие стороны пришли к различным компромиссам: воскресенья и прочие религиозные праздники были более-менее исключены из капиталистической рабочей недели; семейная жизнь не подверглась коммодификации, главным образом благодаря уходу большинства замужних женщин с рынка труда; эксплуатация труда подверглась различным ограничениям; наконец, к середине XX века ряд базовых услуг был по крайней мере частично отобран у капитализма и рынка, поскольку их предоставление было сочтено слишком важным и необходимым для всех. Как отмечал Т. Х. Маршалл (Marshall, 1963), люди приобрели право на эти товары и (в первую очередь) услуги не потому, что могли покупать их на рынке, а благодаря своему статусу граждан. Право на определенные услуги стало признаком демократии, таким же, как невозможность купить на рынке право голоса или право на справедливый суд; предоставление таких услуг через рынок означало бы снижение качества гражданства. (В большинстве капиталистических обществ идея о том, что юридические и демократические права защищены от посягательств рынка, по сути, является мифом. Богатые люди и группировки могут нанимать себе лучших адвокатов, а в придачу к своим демократическим правам имеют возможности для лоббирова-

ния. Однако на риторические лозунги равенства перед законом и перед урной для голосования никто не покушается.) Эти услуги не обязательно предоставляются бесплатно, но их оплата носит символический характер и ни в коем случае не призвана регулировать их распределение или дозирование.

Список таких услуг менялся с течением времени и от страны к стране, но обычно он включает в себя право на образование определенного уровня, на здравоохранение, на отдельные виды ухода (в том числе ухода за детьми) в случае необходимости, и на финансовое всесторожество в случае старости, а также временной или постоянной потери заработка вследствие увольнения, болезни или инвалидности.

Хотя порой эти исключения из сферы коммодификации и рынка становились объектом острых и ожесточенных конфликтов, задача тех, кто пытался ограничить проникновение капитализма в социальную жизнь, облегчалась тем фактом, что в течение большей части этого периода наилучшие возможности для получения прибыли и расширения границ рынка лежали в области промышленного производства. Этому процессу был придан особенно мощный импульс в эпоху Второй мировой войны, когда западный мир переживал фазу демократического подъема, а потребности резко технологизировавшейся войны послужили внешним толчком для всевозможных изобретений, исследований и открытий с их последующим разносторонним использованием в мирное время. Западный капитализм в каком-то смысле расслабился, воспользовавшись теми возможностями, которые принесли ему важные компромиссы в отношении прав трудящихся и социального обеспечения. К концу 1960-х и началу 1970-х годов эта тенденция достигла своего пика. Мы снова видим здесь те же процессы, что уже рассматривались ранее в качестве ключевых факторов, определяющих траекторию демократический параболы.

При сохранении высокого темпа инноваций в производстве предметов потребления последующие крупные разработки требовали все более дорогостоящих исследований и крупномасштабных инвестиций. В то же время начали открываться новые возможности по предоставлению богатеющему населению разнообразных услуг, включавших в себя новые формы распределения, туризм, новые разновидности финансовых и прочих деловых услуг, набирающие популярность рестораны и прочие виды общепита, возросший интерес к возможностям здравоохранения, образования, к юридическим и прочим профессиональным услугам. Капиталистические компании все чаще обращались к этим секторам как к источникам прибыли — сперва наряду с промышленным производством, а затем и вместо него.

Но при этом возникла проблема. Некоторые из вышеназванных услуг в потенциале весьма прибыльны, а в их предоставлении заинтересовано большое количество людей, однако они входят в компетенцию государства всеобщего благосостояния и в качестве оформившихся в середине века атрибутов гражданства ограждены от частного владения и от рынка. Пока существует государство всеобщего благосостояния, эти потенциальные сферы извлечения прибыли остаются недоступны капиталу. Поэтому постиндустриальный капитализм пытается отменить соглашения, заключенные его индустриальным предшественником, и снести барьеры на пути коммерциализации и коммодификации, предусматриваемые существующими концепциями гражданства. В этом ему оказывает всяческую поддержку Всемирная торговая организация (ВТО), на которую власти самых могущественных государств мира возложили задачу по либерализации международного обмена товарами и услугами. У ВТО нет никаких других обязательств и никаких иных гуманитарных приоритетов; этот институт создан на волне постдемократии

и обладает абсолютно постдемократическим набором обязанностей.

Единственное право, которое ВТО защищает от открытой конкуренции — это патентное право, и отсюда следует та поддержка, которую ВТО оказывала (до тех пор, пока эта практика не превратилась в крупную политическую проблему) многонациональным фармацевтическим фирмам, препятствуя бедным странам в торговле дешевыми, конкурентоспособными вариантами жизненно необходимых лекарств. Помимо либерализации существующих рынков, ВТО старается внедрить рыночные отношения в те сферы, где прежде господствовали иные принципы. В первую очередь объектом ее усилий становится государство всеобщего благосостояния, включая государственное образование и здравоохранение как области, которые должны быть открыты для рынков и для приватизации (Hatcher, 2000; Price, Pollock and Shaoul, 1999). В результате этого нажима набор гражданских атрибутов почти повсеместно подвергается серьезным атакам.

## ГРАЖДАНСТВО И РЫНКИ

Важной отправной точкой для критики призывов к неразборчивой коммерциализации может служить то соображение, что максимизация рынков и частной собственности зачастую вступает в конфликт с другими целями человеческого существования. В то время как ВТО не готова и не обязана их учитывать, отдельные правительства, организации и частные лица вправе задаться вопросом: следует ли некритически относиться к перспективе полной маркетизации как к единственному критерию, определяющему нашу жизнь? Попытка помешать подобным дискуссиям равнозначна наложению серьезных ограничений на демократию. В принципе несогласных с этой идеей не найдется, за исключением каких-нибудь крайних либертарианцев. Например, вряд ли кто из консер-

## V. ...КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСТВА

ваторов (или кто-то еще) подписался бы под требованием загнать в рыночные рамки сексуальные отношения или отношения между родителями и детьми. Практически никто из консерваторов и немногие из либералов согласятся с тем, что национальный политический суверенитет может стать предметом рыночной торговли и что право людей на смену страны проживания должно регулироваться только состоянием рынка труда, а не государственной иммиграционной политикой.

Рынок не может быть абсолютным принципом, категорическим императивом, поскольку представляет собой не самоцель, а лишь средство достижения цели. Рынок нужен нам потому, что его правила позволяют принимать решения о распределении ресурсов, в наибольшей степени отвечающие нашим целям, в чем бы эти цели ни состояли. В отношении других способов распределения ресурсов никогда нельзя сказать наверняка, позволят ли они так же эффективно, как реальный рынок, просчитать все сопутствующие издержки, включая издержки упущенных возможностей. Но это не отменяет двух принципиальных моментов: того, что рынок не всегда в состоянии учесть все значимые факторы при выборе товара, и того, что рыночные методы сами по себе могут негативно отразиться на качестве товара. Первый момент имеет серьезное практическое значение, но его по крайней мере можно преодолеть, улучшая качество самого рынка. Например, если в цене товара не учитываются издержки от загрязнения окружающей среды, произошедшего в процессе его производства, то можно ввести налог, равный этим издержкам, и это, в свою очередь, отразится на цене.

Второе возражение — о том, что рыночные отношения как таковые негативно сказываются на самом товаре, — носит более фундаментальный характер. Например, большинство людей считает, что сексуальные отношения, предлагаемые по принципу проституции,

заведомо уступают сексуальным отношениям нерыночного характера. Проституцию, несомненно, можно усовершенствовать, если изменить состояние рынка сексуальных услуг: например, если легализовать ее, то снизится уровень эксплуатации и улучшатся условия, в которых оказываются эти услуги. Но все это не снимает вышеупомянутого возражения, которое связано с абсолютным суждением о качестве товара.

Можно ли счесть возражения такого рода применимыми в сфере гражданских услуг? Этот вопрос завязан на две ключевые проблемы, к которым может привести применение коммерческого подхода: на проблему искажения и проблему остаточного принципа.

### ПРОБЛЕМА ИСКАЖЕНИЯ

Предоставление товаров и услуг посредством рынка включает сложную процедуру создания преград, не позволяющих потребителям получать эти товары и услуги бесплатно. Порой при этом изменяется сам характер товара. Мы миримся с этими искажениями, поскольку иначе большинство товаров и услуг будут нам вообще недоступны. Так, очевидно, что торговцы не станут строить магазины, если мы не будем признавать оплату наличными и вообще всю процедуру обмена товара на деньги. Однако бывают случаи, когда необходимая степень искажений настолько снижает качество товара или возводит настолько искусственные барьеры, что потребитель вправе усомниться, оправданы ли такие меры: например, когда предпринимателю позволяют купить кусок побережья и взимать плату за доступ на пляж и прогулки по утесам. Можно также вспомнить телевизионные программы, прерываемые рекламой, которая необходима для оплаты их производства.

Более показательный пример мы находим в деятельности Агентства помощи детям, созданного в

1980-х годах британским правительством консерваторов с целью добиться увеличения суммы алиментов, выплачиваемых родителями (как правило, отцами), не помогающими своим бывшим супругам в воспитании детей. Будучи порождением неолиберального подхода, Агентство не было заинтересовано в соблюдении справедливости и беспристрастности, предусматриваемых элементарной моделью юридических гражданских прав. По сути, Агентство выполняло роль частной компании по сбору долгов, а его персонал был финансово заинтересован в том, чтобы обеспечить максимальную прибыльность выделяемых Агентству государственных средств. Соответственно, Агентству было проще выколачивать больше денег из тех отцов, которые не скрывались и уже платили какие-то алименты, чем искать тех, кто вообще ничего не платил. В смысле идеалов справедливости и беспристрастности такой подход представлял собой искажение заявленной цели, приводя к тому, что Агентство стало крайне непопулярной организацией и не пользовалось никаким доверием. Но, исходя из логики хорошего бизнеса, Агентство избрало верную стратегию для максимизации прибылей. Принципы правосудия были принесены в жертву деловым принципам.

Другая форма искажений связана с искусственными попытками создания показателей, которые могли бы служить аналогами цены, особенно на теневых рынках, часто создающихся в сфере общественных услуг с целью избежать тех или иных проблем приватизации и в то же время воспользоваться важными преимуществами рынка. В тех случаях, когда рынок виртуален, а товары и услуги реально не являются предметом продажи, возникает сильное искушение к тому, чтобы избрать на роль показателей те величины, которые легко измерить, вместо реально значимых характеристик товара или услуги. Поставщики услуг склонны уделять основное внимание тем ас-

пектам своей работы, которые учитываются в этих показателях, пренебрегая другими аспектами не потому, что те, в принципе, менее важны, а потому что их сложнее вычислить. К подобным искажениям привели попытки правительства новых лейбористов в Великобритании поставить во главу угла сокращение определенных списков нуждающихся в медицинском обслуживании: руководители учреждений здравоохранения и врачи сосредоточили усилия и ресурсы на тех направлениях, которые проходили через процедуру оценки и приобретали политическую значимость, за счет других аспектов своей работы, оставшихся в тени. Видимая эффективность такого подхода порой бывает весьма иллюзорна, поскольку вполне может случиться так, что легко измеряемые показатели в реальности далеко не самые существенные, и в результате мы получим снижение фактической эффективности. Конечно, число показателей можно увеличивать, но это в конце концов приведет к перегрузке работников всякого рода расчетами и к чрезмерной забюрократизации.

Ценность показателя зависит от того, насколько точно он измеряет свойство, необходимое потребителю, а с этим могут возникнуть проблемы даже на настоящих рынках. Вычисление акционерной стоимости компаний нередко дает искаженное и ошибочное представление о том, чего стоит компания в долговременном плане; курсы обмена валют зачастую весьма отдаленно связаны с их относительной покупательной способностью; относительная прибыльность — не единственный законный метод сравнения ценности двух родов деятельности. Эта проблема усугубляется в случае теневых или искусственных рынков типа тех, что существуют в сфере общественных услуг. Здесь показатели обычно выбираются не пользователями, а политиками или администраторами и в результате чаще удовлетворяют политическим или управлением критериям, а не запросам клиентов,

которые, в принципе, и представляют собой главную цель прилагаемых усилий. В биржевой разновидности капитализма, которая стала преобладать к концу XX века, эта проблема показателей перестала служить предметом беспокойства. На примере большого числа компаний из области информационных технологий, которые имели высокую акционерную стоимость еще до того, как что-то продали потребителям, мы видим, что стоимость акций фирмы стала абсолютно самодовлеющим фактором: если достаточно много людей верит в то, что акционерная стоимость сама по себе является важным показателем, они станут покупать акции, оправдывая величину акционерной стоимости (Castells, 1996, ch. 2). Подобная экономика уязвима для внезапных кризисов доверия, во время которых рушатся эти карточные домики. Но проходит немного времени, и карточные домики строятся заново.

Кроме того, экономика подобного типа крайне уязвима для коррупции, что стало очевидно во время разгоревшихся в США вышеупомянутых аудиторских скандалов. Хотя подобная практика всеми осуждается, в сущности, она может быть оправдана с точки зрения так называемой новой экономики, созданной в 1990-х. Если ценность экономической деятельности определяется исключительно стоимостью акций, и если эта стоимость реальна в том смысле, что достаточно много инвесторов верят в ее реальность и покупают акции, то что плохого в том, чтобы попытаться восстановить пошатнувшееся доверие, сделав вид, что компания приносит прибыль? При условии, что достаточное число людей в это поверит, акционерная стоимость компании снова вырастет и все закрутится по новой.

По аналогичному принципу работают показатели, с помощью которых измеряются успехи служб социального обеспечения. Если люди верят, что эти показатели отражают что-то реальное, то они будут довольны, узнав, что значение этих показателей уве-

личивается. А если они будут довольны, то воздадут должное правительству, добившемуся таких хороших результатов. О реальном состоянии услуг при этом все забудут, если только какие-нибудь настырные критики не сумеют снова привлечь к нему внимание. До тех пор же в работе соответствующих служб будут наблюдаться серьезные искажения.

### ОСТАТОЧНЫЙ ПРИНЦИП

Рынок часто провозглашают царством потребительского суверенитета: продажа компаниями товаров и услуг возможна лишь в том случае, если мы хотим их покупать. Однако именно поставщики в первую очередь выбирают себе клиентов, принимая решение о том, в каком сегменте рынка им работать. Ни одна компания не может взять на себя обязательство удовлетворять все запросы. Общественные услуги в этом отношении принципиально отличаются от частного бизнеса, поскольку диапазон их деятельности в потенциале должен быть всеохватным. Партнерство частного и государственного секторов при предоставлении этих услуг ведет к тому, что частные поставщики выбирают те сегменты, которые они хотят обслуживать, а государственные службы занимаются предоставлением услуг для тех, в ком частный сектор не заинтересован. Подобное предоставление услуг носит остаточный характер, а из работ таких исследователей, как Альберт О. Хиршман (Хиршман, 2008) и Ричард Титмус (Titmuss, 1970), мы и в теории, и на практике знаем, что качество остаточных общественных услуг резко снижается, поскольку пользоваться ими приходится только бедным, политически безответственным слоям населения.

Ситуация еще больше усугубляется, когда к общественным услугам предъявляется требование остаточности и низкокачественности, потому что правительство сознательно пытается расчистить пространство

для их коммерческого предоставления. Это вполне может случиться в том случае, если правительство отчаянно пытается приватизировать общественные услуги и за счет их продажи ликвидировать дефицит бюджета. Тогда такие услуги устраниются и из сферы рынка, и из сферы гражданских прав. Общественные услуги подобного рода нельзя назвать атрибутами гражданства: доступ к ним превращается из привилегии в наказание, а получателей остаточных услуг необходимо лишить права выражать свое гражданское мнение, иначе они потребуют повысить их качество, что невозможно без нарушения запрета на конкуренцию с частными поставщиками услуг.

Можно привести важный пример из практики агентств по трудоустройству. Логика неолиберального рыночного режима требует по возможности приватизировать эту сферу, оставив государственным структурам работу лишь с теми, кого трудоустроить нереально. Соответственно, пособия по безработице должны сопровождаться санкциями за отказ от предлагаемого варианта трудоустройства. Клиенты лишаются рыночного выбора, так как не отвечают критериям вхождения на рынок, и оказываются ущемлены в гражданских правах, так как из мира, где у них есть право на безопасность, их выгоняют в мир, где за отказ от услуги может последовать наказание. В 1960–1970-х годах в развитых странах обычно считалось необходимым, чтобы государственные службы занятости предоставляли как можно более обширные услуги и чтобы выплата пособий по безработице была отделена от услуг по трудоустройству, поскольку цель трудоустройства — и в смысле его эффективности, и в смысле гражданских прав — понималась как максимальное расширение возможностей граждан на получение подходящей работы, приносящей удовлетворение. В настоящее время распространение получило ровно противоположный принцип: приватизация услуг по трудоустройству предусмотрена Маастрихтским договором и поощря-

ется ОЭСР в качестве меры, привязывающей услуги по трудоустройству к выплате пособий. От обеспечения права граждан на труд мы переходим к тому, чтобы сделать жизнь без работы очень непривлекательной и тем самым заставить безработных искать хоть какую-то работу.

### ДЕГРАДАЦИЯ РЫНКОВ

Мы уже отмечали, что полное или частичное представление услуги частным сектором невозможно без ее маркетизации, особенно если под рынком мы понимаем чистый рынок из учебников по экономике. Он требует очень большого (стремящегося к бесконечности) числа конкурирующих между собой поставщиков и покупателей и отсутствия серьезных барьеров, препятствующих приходу на рынок новых поставщиков. Кроме того, регулирование такого рынка должно ограничиваться сохранением идеальных условий для конкуренции, не создавая абсолютно никаких поблажек и привилегий для отдельных поставщиков и покупателей. Такие жесткие условия нужны по двум причинам. Во-первых, они обеспечивают минимальную возможную цену, при которой поставщики не уходят с рынка: в условиях идеальной конкуренции поставщик не может диктовать цену; никто не в состоянии своими действиями устанавливать цены или хотя бы влиять на них. Во-вторых, состояние анонимности, обеспечиваемое как этим условием, так и отсутствием привилегированного доступа к регулирующим органам, ведет к невозможности политического вмешательства на благо отдельным поставщикам и в ущерб всем прочим. Собственно, в неоклассической экономической науке лоббирование в интересах производителя вообще не предусмотрено, кроме тех случаев, когда запрос на изменение регулирующего режима подается открыто и в интересах всех производителей, представленных на рынке.

### V. ...КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСТВА

Существует много товаров и услуг, в отношении которых эти условия более-менее выполняются, но это, очевидно, совсем не так в тех случаях, когда на рынке не может присутствовать много компаний. Современная экономическая теория и надзорные органы вынуждены все чаще учитывать нереальность идеальной конкуренции в олигополистических секторах. Отмечалось, что очень малое число гигантских компаний может вступить друг с другом в ожесточенную ценовую конкуренцию, и поэтому считается, что олигополии в таких секторах, как нефтяной, и откровенная монополия в сфере программного обеспечения не нарушают антимонопольного законодательства. Однако этот подход принимает во внимание только цену, игнорируя важный политический аспект, связанный с привилегированным доступом таких компаний к политическим властям, который невозможен в жестких условиях чистого рынка. Конкуренция между олигополистическими компаниями не обязательно влечет за собой ослабление привилегированного политического лоббирования и даже может его усиливать в той степени, в какой эти компании прибегают к политическим средствам в своей конкурентной борьбе. Для политэкономов XVIII века, в частности для Адама Смита, а также для их современных наследников, таких как Фридрих фон Хайек, гарантия анонимности и неспособность какого-либо отдельного производителя изменять условия играла важную роль в этих политических рассуждениях. Смит, несомненно, посчитал бы политическую роль таких компаний, как *Enron* или *Microsoft*, несовместимой с идеей рыночной экономики.

Смиту, само собой, не приходилось учитывать реалии массовой демократии, да он, вероятно, и не вполне бы ее одобрил. Однако, как отмечалось в главе II, мы знаем, что он наверняка не одобрил бы и постдемократическую политику с ее доминированием деловых лобби и, возможно, согласился бы с нами в том,

что в условиях начала XXI века только бдительность возрожденной демократии могла бы поставить предел неэффективности и сомнительной практике, которые с большой вероятностью будут порождаться эллипсом, объединяющим политизированную деловую элиту и самодостаточный политический класс. Фон Хайек, в общем, не возражал против демократии, но надеялся на то, что будут найдены способы сдержать ее тенденцию к критике капиталистического рынка. Он никогда не задумывался над ключевой проблемой: если для каждого конкретного капиталистического предприятия прибыльнее иметь политическое влияние, чем подчиняться рынку, то может ли политический процесс, в котором доминируют капиталистические силы, избежать перерождения в систему деловых лоббий? Возможно, хайековская модель и работает в условиях истинной неоклассической экономики, когда ни одна компания не обладает политическим влиянием и когда все отдают предпочтение политической системе, гарантирующей, что ни одна компания не приобретет такого влияния, но в условиях конца XX — начала XXI века это нереализуемо. Крупные корпорации приобрели политические возможности и влияние, далеко превосходящие возможности и влияние мелких и средних предприятий, вынужденных работать в условиях политических ограничений реального рынка, и пользуются этим влиянием не только ради достижения собственных целей, но и ради сохранения политической системы, которая допускает проявление такого влияния.

Эти проблемы приобретают фундаментальное значение в случае приватизации и крупномасштабной выдачи подрядов в сфере общественных услуг, поскольку именно здесь широко распространено лоббирование и налаживание специальных связей с политиками и государственными чиновниками, вполне доступное для очень крупных, отнюдь не анонимных

компаний. Получение приватизационных контрактов на своих собственных условиях и планирование их обязательного возобновления становится поводом для интенсивного взаимодействия в пределах эллипса нового политического класса, который включает в себя очень небольшое число представителей элиты, выступающих от имени корпораций (нередко бывших министров и государственных служащих), политических советников и персонала партийных мозговых центров, а также министров и госслужащих, еще находящихся на своих должностях. Невозможно пресечь связи между старыми приятелями, вклады в партийные кассы, обещания директорских должностей после выхода в отставку и прочие явления, сопровождающие это взаимодействие. С тех пор как успех в выдаче подрядов частным лицам стал важным символом политической добродетели, политикам национального и местного уровня не требуетсѧ иной награды, помимо готовности компании взять предлагаемый ими подряд, что едва ли может служить стимулом для жесткого торга. В случае полной приватизации тот факт, что участвующие в ней компании ведут себя не вполне по-рыночному, нередко учитывается посредством учреждения соответствующих ведомств для контроля над последующей работой отрасли. Но тогда появляются основания для беспокойства по поводу взаимоотношений между контролирующими органами и лоббистами. Хорошо известные заявления о том, что приватизация де-политизирует данную отрасль или услугу и дает гарантии против коррупции, крайне лицемерны. Такая стратегия, отнюдь не снижая возможностей для коррупции в отношениях между властями и бизнесом, напротив, значительно расширяет их, создавая особый класс компаний, обладающих большими привилегиями в смысле доступа к политическим кругам. Чем более политически значима данная услуга, тем больше проблем при этом возникает.

## ПРИВАТИЗАЦИЯ ИЛИ ПОДРЯДЫ?

Различие между приватизацией и выдачей подрядов требует более глубокого анализа. В первом случае частные компании получают право собственности на ресурсы, находившиеся в государственном владении. В последнем случае владельцем активов остается государство, однако исполнение отдельных аспектов данной услуги осуществляется коммерческими компаниями на основе контрактов разной продолжительности. Разница здесь налицо. Например, при приватизации железных дорог власти могут приватизировать все, а могут оставить в своем владении железнодорожную сеть и выдавать подряды на организацию движения, обслуживание станций и услуги по перевозкам товаров.

Эта разница становится очень важной при использовании подходов типа «Третьего пути», применяемого британским правительством новых лейбористов, которые утверждают, что их стратегия в области здравоохранения и образования включает партнерство между государственными и частными финансами и выдачу подрядов на предоставление услуг, а не передачу государственных активов в частные руки, которая называлась бы приватизацией. Хотя такой подход, в отличие от приватизации, помогает избежать утраты права собственности, влекущей за собой потерю контроля над государственными активами, в реальности он лишь усугубляет рассматриваемую нами проблему привилегированного лоббирования и доступа к министрам и госслужащим со стороны отдельных корпораций. Именно из-за того, что выдача подрядов на предоставление услуг и финансовое партнерство между государством и частными лицами не сопряжены с финальной приватизацией, взаимодействие между государственными властями и частным предпринимателем приобретает непрерывный характер, и поэтому лобби-

## V. ...КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСТВА

рование и предосудительный обмен взаимными услугами становятся постоянными факторами. Оба варианта по необходимости влекут за собой заключение долгосрочных контрактов. В случае частного финансирования таких проектов, как постройка больницы или крупной школы, срок действия контрактов может достигать тридцати лет и больше. С учетом недолговечности современных политических и организационных договоренностей такие контракты становятся более чем пожизненными. Выдача подрядов на оказание услуг не влечет за собой потребности в подобных долгосрочных контрактах, но она подразумевает некоторые невозвратные затраты, а, кроме того, частному подрядчику требуется время для вхождения в курс дела. Такие подряды обычно выдаются на срок от пяти до семи лет.

В течение действия таких контрактов заказчик попадает в сильную зависимость от подрядчика в смысле качества услуг. Подрядчик может штрафоваться за их неоказание, но и услуги, и их выполнение могут быть четко обозначены лишь в смысле текущих задач и потребностей. Контракт представляет собой юридически обязывающий документ, в который не так-то легко внести поправки; долгосрочный контракт — инструмент поразительно негибкий и неповоротливый для того, чтобы пользоваться им в эпоху, требующую особенно быстрой адаптируемости и гибкости. В случае краткосрочных (от пяти до семи лет) контрактов компании почти сразу же начинают думать об их возобновлении. Это, несомненно, дает им стимул к добросовестному исполнению существующего контракта, однако история выдачи подрядов учит нас не быть наивными. Имеются куда более простые и надежные способы возобновления контракта — вместо повседневного добросовестного оказания услуг достаточно поддерживать хорошие отношения с несколькими ключевыми лицами, занимающими ответственные должности.

Особенно интересно отметить возникновение множества компаний, специализирующихся на искусстве

получения подрядов от государства в самых разных сферах деятельности: например, одна реально существующая британская компания берет подряды и на создание систем противоракетного предупреждения, и на организацию инспекций в начальных школах. Очевидно, что компания, прежде подвизавшаяся в строительстве систем ПРО, не имеет первоначально опыта в управлении школами, и поэтому, добиваясь подряда в этой области, не может со своей стороны предложить ничего серьезного. Зато она обладает опытом получения подрядов от политиков и госчиновников; этот опыт позволяет ей стать членом постдемократического эллипса, описанного в главе IV. Но обязательно ли этот опыт нужен для того, чтобы добавленная стоимость и качественная услуга доходили до непосредственных потребителей? В конце концов, потребность в этом опыте можно устраниТЬ, просто-напросто не выдавая подрядов частному сектору.

### ОТМИРАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Поведение государства в отношении реальных и потенциальных частных подрядчиков и готовность допустить их к процессу формулирования публичной политики, которая для них самих является источником прибыли, представляют собой примеры тенденций, упомянутых в главе II: утраты государством уверенности в себе и ликвидации государственной службы как явления. Стоит напомнить, что понятие государственной службы сложилось в преддемократическую эпоху. Во многих странах оно получило еще большее развитие в эпоху расцвета так называемого бесконтрольного капитализма. Объясняется этот парадокс тем, что именно в стремлении оградить капиталистические свободы реформаторы XIX века нередко оказывались в ситуации, когда эти свободы вступали в противоречие с другими ценно-

стями и интересами, и потому они всерьез воспринимали беспокойство Адама Смита о том, что бизнес способен извратить политику точно в той же степени, в какой политика способна извратить бизнес. Вследствие этого политикам и государственным служащим требовалась своя этика, диктовавшая им иное поведение, чем в деловом мире. Мало кому удавалось жить в согласии с этими идеалами, из-за чего конец XIX века часто воспринимается как царство лицемерия, но все же эти идеалы существовали. Общественная жизнь призывала к большой осторожности при взаимодействии с представителями влиятельных деловых кругов. Кроме того, от госслужащих требовалось не забывать об общественных интересах, которые не сводились к сумме частных деловых амбиций или того, на что были направлены эти амбиции. Эта идея развилась из концепции верховенства монархических интересов, но была адаптирована к условиям буржуазного капитализма и к необходимости внешнего регулятора в лице государства, а затем достигла своего апогея в социал-демократическом идеале государства на службе у своих граждан.

Подобный подход не подразумевал враждебного отношения к капиталистическому поведению, а лишь признание того, что оно имеет свои границы, и наличие определенного кодекса этики и поведения государственных чиновников. Аналогичные процессы определяли положение армии и церкви по отношению к постепенно нарождающемуся гражданскому и светскому государству. По мере того как в ходе политической жизни развивались институциональные структуры, не опиравшиеся на демонстрацию военной силы, становилось ясно, что политический и военный кодексы нуждаются в отделении друг от друга. Из того, что сторонники гражданской политической жизни настаивали на этом разделении и на неучастии военных в политике, не следовало, что они были пацифистами. Точно так же и некоторые политики

## Колин Крауч. Постдемократия

из числа преданных христиан со временем стали настаивать на отделении церкви от государства.

Одним из новшеств, которые принесло с собой так называемое новое государственное управление в контексте неолиберальной гегемонии 1980-х годов, стал новый подход к границе между государственными и частными интересами, которая отныне считалась полупроницаемой: бизнес может вмешиваться в дела государства, как ему заблагорассудится, но не наоборот. Несогласных с этой моделью обвиняли в том, что они против бизнеса. Такая идея представляет собой крайне однобокое преувеличение классического политэкономического учения, будучи беспринципной адаптацией к реалиям бизнеса с его возможностями лоббирования. Ее интеллектуальным обоснованием служит описанная в главе II неолиберальная теория о врожденной мудрости бизнеса и врожденном идиотизме правительства. Как утверждает эта теория, успешная конкуренция на идеальном рынке возможна, в частности, благодаря максимальной и верной информированности, поскольку неверная информация влечет за собой ошибки стратегии, которые приводят к банкротству. Поэтому можно считать, что успешные компании обладают идеальной информацией, дающей им возможность идеально предвидеть действия других рыночных игроков. Это допущение носит характер аксиомы, так как оно предполагает, что в долговременном плане рынок способствует выживанию лишь самых приспособленных — в данном случае компаний, обладающих наилучшими возможностями для получения информации. В отношении правительства подобных предположений не делается. Оно не существует в состоянии идеальной конкуренции, поэтому его информированность вызывает только подозрения.

Этот тезис используется в том числе и для отрицания возможности государственного вмешательства в экономику. Если игроки на рынке по своей приро-

де лучше информированы, чем правительство, то все шаги, на которые оно пытается их подвигнуть, будут менее эффективны, чем те решения, которые они принимают сами. В сущности, с учетом их способности к идеальному предвидению компании уже будут делать то, чего правительство надеется достигнуть своим вмешательством, и уклоняться от следования его советам. В частности, носителями этого абсолютно го знания считаются компании, сумевшие выжить на финансовых рынках, работающие именно с экономическими знаниями и чье суждение поэтому не должно вызывать никаких сомнений.

В практическом плане этой аргументации присущи три слабых момента. Во-первых, поскольку многие рынки далеко не идеальны, у нас нет никакого права предполагать, что даже самые успешные компании отточили свои способности по сбору информации до максимально возможной степени. Во-вторых, в условиях стремительно изменяющегося мира мы не сможем даже определить, из чего именно немного времени спустя будет состоять идеальное знание; поскольку приобретение информации требует времени, окажется, что ни одна компания не обладает достаточноими знаниями, которые потребуются в чуть более отдаленном будущем. Во время продолжительного биржевого бума 1990-х годов многие от природы осторожные люди тоже поверили в то, что сектору информационных технологий каким-то образом удалось решить все эти проблемы. Последовавший после 2000 года коллапс должен служить полезным напоминанием о том, что информация, сопровождающая биржевые сделки, зачастую менее чем идеальна. В-третьих, определенные разновидности информации особенно легкодоступны для тех, кто находится в ключевых точках и способны получать информацию за пределами рынка (то есть для правительства). Иными словами, если компании могут иметь преимущество над правительством при получении отдель-

ных видов информации, то в отношении информации другого вида преимущество имеет правительство.

Однако мы имеем дело с миром, в котором сила этих возражений не принимается во внимание и где вера в информационное превосходство успешных компаний над правительством превратилась в неоспоримую идеологию в такой степени, что, как мы видели в главе II, госучреждения всех уровней страдают от хронического отсутствия уверенности в своих способностях. Чтобы не лишиться самоуважения и сохранить за собой хоть какую-то легитимность, они пытаются подражать частным компаниям настолько, насколько это возможно (например, посредством внутренней маркетизации), отбирая у частного сектора специалистов, консультантов и реальное предоставление услуг, а также приватизируя как можно больше государственных (или бывших государственных) организаций и вообще выставляя их на суд финансовых рынков. В ходе этого процесса неизбежно отбрасываются сформировавшиеся в XIX веке различия между этикой государственной службы и этикой частного бизнеса, а прежние запреты объявляются устаревшими. Если мудрость частной компании неизменно превышает мудрость правительства, то идея о том, что влияние деловых кругов на правительство должно иметь какие-то пределы, становится абсурдной.

Этот процесс превращается в порочный круг. Чем большую часть своих функций правительство отдает на откуп частным подрядчикам, тем сильнее его служащие реально утрачивают компетенцию в соответствующих сферах, хотя прежде были в них непревзойденными специалистами. Теперь же они становятся просто посредниками между своим начальством и частными компаниями, уступая последним все свои профессиональные и технические знания. И вскоре частные подрядчики смогут с полным на то правом утверждать, что лишь они обладают достаточным опытом для оказания данных услуг.

В процессе максимального уподобления своей деятельности стилю частных компаний властные структуры вынуждены также расстаться с ключевым аспектом своей роли — тем, что они являются властными структурами. Следует отметить, что этот процесс нисколько не затрагивает органы центрального правительства. В сущности, вовсе не приводя к исчезновению государственной власти, о чем мечтают либертарианцы, приватизация госорганизаций влечет за собой концентрацию политической власти в эллипсе: последняя образует плотное центральное ядро и взаимодействует преимущественно с элитой частного бизнеса. Это происходит следующим образом. Власти нижнего и среднего уровней, в частности местные госструктурь, вынуждены перестраивать свою деятельность по модели «покупатель — продавец», задаваемой рынком. Вследствие этого они лишаются своей политической роли, которую перетягивает к себе центр. Кроме того, центральное правительство приватизирует многие из своих собственных функций, передавая их различным консультантам и поставщикам. Однако остается неустранимое политическое ядро, составляющее выборную часть капиталистической национальной демократии, которую нельзя распродать (хотя она может идти на компромиссы с лоббистами) и которая обладает верховной властью, по крайней мере в решениях о том, что и как приватизировать и отдавать подрядчикам. Это ядро в процессе приватизации становится все меньше и меньше, но его невозможно полностью уничтожить, не ликвидировав концепций государства и демократии как таковых. Чем большую роль играют приватизационная и маркетизационная модели предоставления общественных услуг, особенно на местном уровне, тем сильнее ощущается нужда в якобинской модели централизованной демократии и гражданства без каких-либо промежуточных политических уровней.

## УГРОЗА ГРАЖДАНСКИМ ПРАВАМ

Все это влечет за собой серьезные проблемы в отношении демократических прав гражданства. Фридланд (Freedland, 2001) подчеркивает, что отношения между правительством, гражданами и поставщиками приватизированных услуг представляют собой треугольник. Граждане связаны с властью (центральной или местной) посредством демократической избирательной и политической системы. Власти посредством контрактов связаны с поставщиками услуг. Но граждане не имеют ни рыночной, ни гражданской связи с поставщиками услуг и после приватизации лишаются возможности ставить вопрос о качестве услуг перед правительством, потому что уже не оно их оказывает. В результате общественные услуги приобретают постдемократический характер: отныне правительство отвечает перед демосом только за общую политику, а не за ее конкретное воплощение.

После того как Фридланд написал это, случилась череда британских железнодорожных кризисов 2000–2002 годов, которые помогли выявить еще один момент: субподрядную цепочку. После приватизации или получения подряда компании передают часть своих обязанностей субподрядчикам следующего уровня, что еще сильнее увеличивает дистанцию между гражданами и услугой. Установить ответственность за железнодорожные кризисы в значительной степени было затруднительно из-за того, что непрерывно удлинявшаяся цепь субподрядов превращалась в юридический лабиринт, в котором терялась возможность определить, кто за что отвечает по условиям контрактов. Вопрос о качестве услуг в лучшем случае мог быть решен лишь в ходе запутанного судебного разбирательства.

Таким образом, принцип выдачи подрядов влечет за собой серьезный риск. Однако власти все более склонны идти на этот риск, искушенные новыми

заманчивыми возможностями. Пытаясь дистанцироваться от предоставления услуг посредством длинных субподрядных цепочек, правительство подражает самым хитрым компаниям, которые, как говорилось в главе II, открыли в 1990-е годы, что могут избавиться от своего ключевого бизнеса как такового, а затем сосредоточиться на единственной задаче — выстраивать образ своего бренда с помощью рекламных технологий, не заботясь о качестве продукции. Насколько облегчится задача властей, если им нужно будет только культивировать свой бренд и образ, перестав отвечать за реальное качество результатов своей политики! Подобные процессы, несомненно, влекут за собой деградацию демократии.

Это, в свою очередь, приводит нас к дальнейшему выводу: частные компании, в отличие от государственных организаций, обладают возможностями для самопрезентации. Политики, являясь частью госсектора, живут в мире, который находится намного ближе к частному сектору, поскольку вынуждены постоянно продавать себя и все чаще делают это с помощью бренда и красивой упаковки. И этот подарок частного сектора становится в их глазах намного более весомым, чем скучная обязанность заботиться о школах и больницах. Но, что более важно, они понимают, что презентационный подход со временем заставит забыть общественность о реальном качестве предоставляемых услуг, переключив ее внимание на рекламные и маркетинговые ходы, которые принес в эту сферу частный бизнес. В полностью раскрученном политическом мире здравоохранение, образование и прочие вопросы по-прежнему будут играть ключевую роль в политике, но в брендовой политике точно так же, как в рекламе «Кока-колы», содержатся ссылки на собственно напиток. Они будут служить источниками ассоциаций и образов, а не предметами, значимыми сами по себе. Электоральная конкуренция сохранит свой интенсивный и креативный характер,

поскольку соперничающие партии будут стремиться к тому, чтобы ассоциироваться с победными образами, но это будет такая конкуренция, которую партии сумеют удерживать под своим контролем.

Власти и партии не смогут окончательно перейти в этот идеальный мир до тех пор, пока услуги образования и здравоохранения, как и все прочее, что останется от государства всеобщего благосостояния, не будет передано длинной цепочке частных субподрядчиков, за работу которых государство будет нести не большее ответственности, чем фирма *Nike* отвечает за обувь, которую продают под этим брендом. Если применить этот сценарий к треугольнику Фридланда, мы увидим, что граждане потеряли буквально все возможности для перевода своего недовольства в политические действия. Выборы становятся игрой вокруг брендов, лишая граждан шанса донести до политиков свое мнение о качестве услуг. Пусть такой исход покажется неправдоподобным, но в реальности это лишь развитие процесса, к которому мы так привыкли, что перестали его замечать: уподобление демократического избирательного процесса, наивысшего выражения гражданских прав, маркетинговой кампании, вполне откровенно строящейся на манипуляциях, применяемых для продажи товаров.

## VI. Заключение: куда мы движемся?

На предыдущих страницах мы пытались показать, что главной причиной современного упадка демократии является резкий и усугубляющийся дисбаланс между ролью корпоративных интересов и ролью практически всех прочих групп. На фоне неизбежной энтропии демократии все это ведет к тому, что политика снова становится занятием узких элит, как в преддемократические времена. Этот дисбаланс проявляется на самых разных уровнях: порой в виде внешнего давления, оказываемого на правительство; порой как смена приоритетов самого правительства; порой в самой структуре политических партий.

Эти процессы столь мощны и масштабны, что обратить их вспять кажется делом нереальным. Однако у нас остается возможность от части удержать современную политику от неумолимого сползания к постдемократии. Для этого требуются политики по обузданнию корпоративной элиты и ее возрастающего влияния, политики по реформированию политической практики как таковой и те действия, которые еще могут предпринять сами обеспокоенные граждане.

### БОРЬБА С КОРПОРАТИВНЫМ ВЛИЯНИЕМ

Растущее политическое влияние компаний остается ключевым фактором, обеспечивающим успехи постдемократии. Радикалы прежних поколений восприняли бы это заявление как призыв к свержению капитализма. Сейчас времена уже не те. Хотя восторженное отношение к капиталистическому способу производства порой доходит до крайностей (в частности, находя выражение в приватизации железных дорог, водо-

снабжения и авиадиспетчерской службы), никто еще не придумал альтернативы капиталистической компании с ее производственной эффективностью, инновативностью и отзывчивостью на запросы клиентов в том, что касается большинства товаров и услуг. Следовательно, мы должны искать способ сохранить динамизм и предпринимчивость капитализма, в то же время препятствуя компаниям и их руководству приобретать слишком большое влияние, несовместимое с демократией. Сейчас модно отвечать, что это невозможно: едва мы начнем регулировать и сдерживать капиталистическое поведение, как оно тут же лишится своего динамизма.

Но это блеф, на который политический мир боится отвечать. В другие эпохи и в других местах демократия опиралась на умение политиков обуздывать политическую власть бизнеса (или церкви, или армии), в то же время сохраняя их эффективность в качестве обогащающей (нравственной, военной) силы. И мы тоже должны найти этот баланс, если хотим сохранить демократию. Подобный компромисс удалось заключить между демократией и национальным промышленным капитализмом в середине XX века. Сегодня к повиновению надлежит привести глобальный финансовый капитализм.

Но требовать этого на глобальном уровне — в настояще время все равно что пробовать докричаться до Луны. Рамки международного миропорядка, задаваемые Всемирной торговой организацией, Организацией экономического сотрудничества и развития, Международным валютным фондом и (для европейцев) Евросоюзом, пока что сдвигаются в противоположном направлении. Практически все меры, предпринимаемые в связи с «реформой» международной экономики и либерализацией, включают в себя устранение любых помех корпоративной свободе. В полном согласии с парадоксом, хорошо знакомым из экономической истории капитализма, руководящая тео-

рия требует движения к почти идеальному рынку, на практике же необузданная торговая либерализация служит интересам крупнейших корпораций. Вместо создания свободных рынков возникают олигополии. Большинство из них зародилось в США, единственной в мире сверхдержаве, благодаря чему они могут использовать правительство этой страны для лоббирования своих интересов в международных организациях. При этом американские власти более привержены идеи корпоративной свободы, чем большинство других. Сейчас американское правительство ведет наступление в тех сферах, на которые прежде не распространялась политика свободной торговли, например в здравоохранении или помощи бедным странам. Мы видим это и на примере неудачных попыток ЕС защитить европейских потребителей от различных химических добавок в американском мясе, и в невыполненных обещаниях США карибским странам — производителям бананов.

В течение всех 1990-х годов европейцев, японцев и всех прочих убеждали в том, что англо-американская модель корпоративного управления и экономического регулирования более совершенна, чем их модели. Эта система правил предусматривает прозрачность поведения корпоративного руководства — в первую очередь из-за важной роли, которую интересы акционеров играют в неолиберальной экономике двух этих стран. Но нам говорят также, что такая прозрачность служит для широкой публики лучшей защитой, чем распространенные в других странах формы контроля, осуществляемые государством или деловыми ассоциациями. Таким образом, ставится знак равенства между интересами акционеров и интересами общественности. Может показаться, что в наше время, когда очень многие являются мелкими акционерами, мы видим здесь финальный ответ на все заявления левых о том, что капиталистической экономике необходимы какое-то внешнее управление и контроль.

Однако нынешняя волна аудиторских скандалов в США может привести к пересмотру этих взглядов. Разумеется, ни одна система не обходится без скандалов и злоупотреблений. Тем не менее существенным здесь является крупный провал именно тех принципов регулирования, благодаря которым и существует прозрачность, обеспечивающая превосходство англо-американской системы. Как мы уже отмечали, в рамках нынешнего либерального контролирующего режима, дружелюбного к корпорациям, задача надзора за честностью менеджмента доверена аудиторским компаниям, которым разрешается оказывать другие платные услуги тем же самым руководителям, за которыми они должны надзирать в интересах акционеров. Как эти аудиторские фирмы, так и деловые круги, с которыми они вступают в такие взаимоотношения, играют видную роль в формировании новых политических эллипсов, описанных в главе IV.

В 2002 году американское правительство, явно нарушая международные договоренности, ввело новые тарифы и квоты на импорт стали с целью защитить собственную металлургическую отрасль. Этот шаг значительно ослабил образ американской экономики как пример превосходства свободной торговли над отраслевой политикой. Настало время для контратаки на англо-американскую модель со стороны всех тех, кто в 1990-е годы был загипнотизирован видимым преимуществом ее методов контроля, ориентированных на защиту акционеров. В частности, настало время для Европейского союза отказаться от слепого подражания Америке.

Сам по себе ЕС вряд ли может служить впечатляющим образцом демократии. Хотя предшествовавшее ему Европейское экономическое сообщество появилось на свет в эпоху расцвета послевоенной демократии, оно задумывалось в первую очередь как технократический институт. Его внутреннее демократическое развитие началось в 1980-е годы, когда элиты уже

вовсю исповедовали постдемократические принципы управления. Поэтому эта демократия очень хрупка и боязлива. Эти факторы, совместно со стремлением большинства национальных правительств к тому, чтобы европейская демократия ни в коем случае не стала конкурентом национальных демократий, привели к созданию чрезвычайно слабых парламентских структур, оторванных от реальной жизни большинства населения. Ситуация с течением времени может улучшиться. По крайней мере существует выборный парламент, а Европейская комиссия налаживает обширные связи с заинтересованными организациями и в Брюсселе, и в национальных государствах. Однако в роли главного проводника демократизации ЕС может выступить на другом уровне. Всего лишь утверждая свое присутствие и насядя некоторые характерные подходы, он способен бросить вызов американскому доминированию, которое в противном случае приобретет абсолютно гегемонический характер, тем самым уничтожив альтернативы и возможности для выбора, без которых демократия не существует.

Имеются также возможности для борьбы с господством бизнеса на национальном уровне. Здесь самая злободневная задача — устранение почти неограниченного влияния деловых интересов на властные структуры, обязанного своим возникновением различным процессам, описанным в главах II и V. Собственно говоря, решение этой задачи во многих отдельных государствах — необходимая предпосылка к каким-либо действиям в международном масштабе.

Согласно неолиберальной идеологии, которая сегодня определяет действия почти любого правительства, все эти проблемы решаются путем создания истинно рыночной экономики. Неолибералы утверждают, что при старой кейнсианской и корпоративистской формах социал-демократической экономики власти и деловые круги вступили в слишком тесные взаи-

моотношения. Там, где царствует свободный рынок, правительство понимает, что его роль сводится к установлению базовых юридических рамок, и смиряется с этим; компании же, знающие, что правительство больше не будет вмешиваться в экономику, держатся в стороне от политики. Если прошедшие двадцать лет чему-нибудь нас научили, так это тому, насколько ошибочно такое суждение. Дело не только в том, что выдача подрядов на оказание общественных услуг — политика, диктуемая данной идеологией, — требует тесного и непрерывного взаимодействия между должностными лицами и компаниями. В более широком и более тонком плане диктуемое неолиберальной идеологией признание врожденной некомпетентности правительства и отношение к частным компаниям как к единственным носителям компетенции влекут за собой нажим на государство, имеющий целью постепенную передачу контроля за общественными делами компаниям и корпоративным лидерам. Отнюдь не проводя четкой границы между властями и бизнесом, неолиберализм соединяет их все большим числом разнообразных связей, но исключительно на территории, прежде зарезервированной за государством.

В результате функции государства и бизнеса настолько переплелись, а стимулы к коррупции настолько усилились, что борьба с этими явлениями требует действий на нескольких уровнях. Необходимы новые правила, которые бы пресекали или по крайней мере очень жестко регулировали денежные потоки и обмен персоналом между партиями, кругом советников и корпоративными лоббии. Необходимо прояснить и ввести в рамки закона отношения между корпоративными донорами, с одной стороны, и государственными служащими, критериями расходования государственных средств и критериями публичной политики, с другой стороны. Необходимо возродить концепцию государственной службы как сферы со своей особой этикой и задачами. Следовало бы

вспомнить о том, что британская элита викторианской эпохи, капиталистическая до мозга костей, выработала глубокое понимание того, чем отличается государственная служба от частного предпринимательства, и, нисколько не возражая против истинных функций последнего, настойчиво проводила это понимание в жизнь. Вполне возможно, что применявшееся в ту эпоху конкретные правила требуют внесения радикальных поправок в период, когда представления о возможностях крупных организаций шагнули далеко за пределы, установленные моделью классической бюрократии. Однако нынешняя теория, которая просто сводится к тому, что государственная служба должна многому научиться у частного бизнеса, безусловно, нуждается в пересмотре.

Необходимо изучить те уроки — и положительные, и отрицательные, — которые преподаны нам годами проникновения частного бизнеса в сферу общественных услуг. Оправданно ли то, что за повышение эффективности мы платим извращением целей? В современных условиях, когда лидеров делового мира приглашают посредством пожертвований и спонсорства проявлять свое влияние в тех областях общественной жизни, которые находятся за пределами их деловой компетенции, вмешиваются ли они в работу специалистов исходя из своего коммерческого опыта или из желания громко заявить о себе, а если да, то каковы будут последствия?

## ДИЛЕММА ГРАЖДАНСТВА

Задача исследования и переосмыслиения того места, которое компании и их руководство занимают в политической жизни, относится к числу тех, в которых многие могут принять участие, — как и задача составления нового юридического кодекса поведения, который призван ввести поведение глобального бизнеса в рамки компромисса с другими социальными инте-

рессами и проблемами. Но кто станет адресатом всей этой весьма важной деятельности? Разумеется, главным образом органы государственной власти, однако наша работа в первую очередь посвящена изучению процесса, в ходе которого правительство и партии, даже левоцентристские, с их политическим аппаратом сами превратились в неотъемлемую часть проблемы о власти корпоративной элиты. Это видно на примере озвученного выше призыва к исследованию тех последствий, к которым приводит проникновение частного сектора в сферу общественных услуг. Кому проводить это исследование? Правительство, скорее всего, обратится к услугам частных консультационных фирм, которые сами являются ярчайшим примером этой проблемы. Сохраняя верность образу активных, положительных граждан, которые являются душой максималистской демократии, я хотел бы завершить свой труд не призывом к политическому классу повышать качество нашей демократии, а размышлениями о том, что мы сами должны сделать для того, чтобы эти вопросы были включены в реальную политическую повестку дня.

С первого взгляда логика аргументов, использовавшихся в данной работе, приводит нас к заключениям, внушающим тревогу своей противоречивостью. С одной стороны, может показаться, что в постдемократическом обществе нам уже нельзя рассчитывать на преданность конкретных партий конкретному делу. Из этого следует вывод о том, что нам следует забыть о партийной борьбе и оказывать всемерное содействие тем организациям, которые готовы решать волнующие нас проблемы. С другой стороны, мы видели, что раздробление политической деятельности на множество мелких направлений создает намного большие систематические преимущества для богатых и могущественных, чем политика, в которой доминируют партии, выступающие как представители более-менее четко определенных социальных слоев. С этой точки зрения

отказываться от партий в пользу работы по конкретным вопросам означает лишь способствовать триумфу постдемократии. Однако опять же, цепляясь за старую модель монолитной партии, мы лишь погружаемся в ностальгию по навсегда ушедшему прошлому.

Некоторые наблюдатели, связанные с поисками третьего пути в политике, отказываясь от неповоротливых институтов недавнего прошлого, с куда большим энтузиазмом относятся к перспективе замены крупных партийных организаций более гибкими структурами, менее политизированными в традиционном понимании. В первую очередь к таким авторам относятся Энтони Гидденс с его «Третьим путем» (Giddens, 1998) и Джек Малган с «Политикой в эпоху антиполитики» (Mulgan, 1994). Но поразительно то, что ни один из них не усматривает в капитализме ничего проблематичного и не видит, что главным источником дилемм современного общества является концентрация корпоративной власти.

Можно найти более удачные способы сгладить противоречие между новыми гибкими движениями и старыми жесткими партиями, нежели делать вид, что проблемы, с которыми могут справиться только последние, уже не существуют. Партии остаются ключевыми игроками в борьбе с антиэгалитарными тенденциями постдемократии. Но мы не можем ограничиться достижением наших политических целей исключительно посредством партий. Мы должны воздействовать и на сами партии, оказывая поддержку тем движениям, которые служили бы источником непрерывного давления на них. Партии, не испытывающие нападка со стороны тех или иных движений, не смогут выбраться из постдемократического мира корпоративного лоббирования; те движения, которые не попытаются опереться на сильную партию, окажутся задавлены корпоративными лобби. Две взаимно противоречивые формы политической борьбы — движения и партии — должны находиться в состоянии взаимодействия.

## ЗНАЧЕНИЕ ПАРТИЙ И ВЫБОРОВ В ПОСТДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ ЭПОХУ

Политики многих стран встревожены растущей апатией избирателей и сокращением численности партий. В этом заключается интересный парадокс класса политиков. Они стремятся по возможности воспрепятствовать тому, чтобы массы граждан активно копались в их секретах, создавали оппозиционные движения, выступали против жесткого контроля со стороны политico-предпринимательского эллипса. Но в то же время политики отчаянно нуждаются в нашей пассивной поддержке; их приводит в ужас мысль о том, что мы потеряем к ним интерес, перестанем за них голосовать и финансировать их партии, будем их игнорировать. Решение они ищут в том, чтобы каким-либо образом обеспечить максимальный уровень минимального участия. Опасаясь апатии избирателей, политики удлиняют часы работы избирательных участков или разрешают голосовать по телефону и через Интернет. Тревожась из-за снижения численности партий, они проводят маркетинговые кампании, поощряя своих сторонников записываться в ряды партии, но не прилагают усилий к тому, чтобы эточество стало привлекательным и стоящим делом.

Граждане, преданные идеи эгалитаризма, подходят к этому парадоксу с другой стороны, усматривая в зависимости политической элиты от ограниченного массового участия шанс на получение максимальных возможностей для проникновения в политику. Так, Филипп Шмиттер (Schmitter, 2002) сделал ряд чрезвычайно нешаблонных и смелых предложений о том, как укрепить серьезное политическое участие, позволяющих решить эту проблему куда более эффективным способом, чем стандартные рецепты, предлагаемые традиционными политическими организациями. Например, вместо государственного финансирова-

ния политических партий, широко распространенного во многих европейских странах, где деньги делятся между партиями в соответствии с итогами последних всеобщих выборов, Шмиттер призывает обратиться к принципам прямой демократии. Из объема выплачиваемых каждым гражданином ежегодных налогов будет вычитаться небольшая фиксированная сумма, перечисляемая на счет партии, выбранной самим гражданином; аналогичным образом Шмиттер предлагает организовать финансирование групп давления и политических ассоциаций.

В число его более радикальных предложений входит идея учредить народное собрание, которое бы сочетало в себе черты древнегреческой демократии, концепцию присяжных, применяемую в судебной практике англоязычных стран, и современную прямую демократию швейцарского образца. По мысли Шмиттера, такое собрание, состоящее из ежемесячно выбираемых жребием граждан, рассматривало бы небольшое число законопроектов, переданных ему решением меньшинства (допустим, одной трети) постоянных членов парламента. Собрание будет вправе принимать данный закон либо отвергать его. Очевидно, потребуются какие-то меры, чтобы предотвратить возможность нажима могущественных лобби на членов собрания. Но и этот проект, и предложение о финансировании партий имеют то достоинство, что непосредственно вовлекают простых людей в политическую жизнь и позволяют им делать свой выбор вне рамок банального участия в голосовании.

Предложение о народном собрании окажется особенно ценным, если применить его на нижних уровнях регионального и местного самоуправления, так как со временем через такие собрания может пройти огромное число граждан, проникаясь чувством политического участия или по крайней мере пониманием вопросов политики. В целом существуют отличные возможности для того, чтобы избежать про-

блем постдемократии на местном уровне вследствие той роли, которую продолжают играть простые активисты, и минимального влияния постдемократического эллипса. Это дает еще одну причину, в дополнение к рассмотренным в главе V, для обеспокоенности текущей тенденцией к приватизации местных общественных услуг и к низведению местных властей до уровня агента-посредника, поскольку в результате уменьшается роль местной политической прослойки в жизни общины и принимаемых ею решениях. Учитывая сравнительную доступность формальной политики на местном уровне и значительные возможности для участия в ней, демократам следует стремиться к повышению роли местной и региональной политики, к насаждению децентрализации, а также к защите и расширению функций гражданских услуг, за которые отвечают местные власти.

Участие в тех или иных движениях не заменит собой членства в политических партиях. Однако это не повод для того, чтобы соблюдать партийную лояльность. Чем более непоколебимо в своей лояльности ядро сторонников партии, тем меньше внимания может обращать на него партийное руководство, прикладывая все усилия к тому, чтобы дать ответ на мощный нажим, оказываемый на партию политическим эллипсом. В подобной ситуации члены партии могут стать серьезной силой, четко и ясно заявив об условном характере своей лояльности. Поэтому эгалитаристам следует научиться идти на риск, взяв на вооружение жесткий подход, рекомендуемый гражданам постдемократической эпохи, — вознаграждая партию за достойное и наказывая за недостойное поведение. Например, британские профсоюзы недавно отказались от давней практики финансирования одной лишь Лейбористской партии вследствие ее хронического невнимания к их проблемам и начали оказывать финансовую поддержку ряду организаций, преследующих цели, небезразличные профсоюзному движению.

Но чтобы это стало прогрессивным шагом, профсоюзы должны сами стать выразителями социальных вопросов, вызывающих широкую и массовую озабоченность, то есть играть ту же роль, на которую с достаточным на то правом они могли претендовать в течение большей части XX века, когда из представителей квалифицированных рабочих превратились в представителей всего относительно неравноправного рабочего класса. Сегодня профсоюзы в результате вышеописанных изменений в структуре занятости тоже вышли на нынешнюю ветвь параболы, и им грозит опасность вернуться к защите интересов относительно привилегированных групп трудящихся, занятых в промышленности и сфере общественных услуг, — возможно, за счет занятых в новых и особенно незащищенных секторах. Например, немецкие профсоюзы продолжают очень умело представлять интересы рабочих-мужчин, занятых в традиционном индустриальном секторе, но именно из-за того, что это им так хорошо удается, они с неохотой берутся за решение проблем, типичных для трудящихся женщин, для тех, кто работает по нестандартным контрактам, или занятых в новых секторах услуг. В других странах, скажем в Италии, некоторые профсоюзы сегодня насчитывают в своих рядах чрезвычайно высокий процент пенсионеров и потому склонны защищать их интересы, а не интересы трудящихся. Это может приобрести особое значение в случае больших отчислений в пенсионные фонды, делающих невыгодным создание новых рабочих мест.

Если профсоюзы окажутся в этой ловушке, они станут уязвимы для нападок своих противников и окажутся помехой для сплочения различных слоев новой рабочей силы. Как говорилось в главе III, колossalную роль в жизни людей по-прежнему играют проблемы занятости, и формирование на их основе политической повестки дня является одним из главных шансов на то, чтобы привлечь внимание простых лю-

дей к значению политики и помочь им в поиске новых коллективных идентичностей. Вступление множества женщин в ряды трудящихся делает проблемы рабочей жизни небезразличными для большей доли граждан, чем в период расцвета классовой политики. Эти потенциальные возможности политической системы требуют от профсоюзов особой политической чуткости и инновативности. Профсоюзы находятся в сложной ситуации, по большей части став жертвами изменений в структуре занятости. Но при желании они могут предпринять ряд стратегических шагов, позволяющих избежать ловушки. Итальянские профсоюзы продемонстрировали это в начале 1990-х годов, когда поддерживали политику перехода Италии к единой европейской валюте, защищавшую интересы широкой общественности, и это привело их к одобрению коренной реформы пенсионной системы.

### МОБИЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ

Как бы ни были велики успехи постдемократии, маловероятно, чтобы она смогла воспрепятствовать формированию новых социальных идентичностей, осознанию ими своего аутсайдерского статуса в политической системе и громкому, четкому провозглашению стремления войти в политику, гибельного для мира традиционной постдемократической электоральной политики, превратившейся в спектакль, идущий под громкими лозунгами. Как мы уже видели, совсем свежий и очень показательный пример тому дают феминистские движения. Другим примером могут служить экологические движения. Существование в рамках демоса возможностей для новой подрывной креативности служит для эгалитарных демократов главной надеждой на будущее.

И феминистское, и экологическое движения следуют классическим шаблонам мобилизаций (Della Porta and Diani, 1999; Eder, 1993; Pizzorno, 1977). Иден-

### VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: КУДА МЫ ДВИЖЕМСЯ?

тичность вырабатывается и определяется различными авангардными группами; недовольные исключением из политики, некоторые из них склоняются к экстремизму и даже к насилию. Но если их движение находит какой-то отзвук в людских массах, оно ширится; его требования проникают в язык и мысли простых людей, которые обычно не склонны вставать под чьи-то знамена. Затем движение становится непоследовательным и внутренне противоречивым. Застигнутый врасплох мир официальной политики не в силах управлять движением, объявляет его недемократичным; в его рамках формулируются и провозглашаются новые требования; элите удается найти на них ответ; движение входит в политику, вслед за чем испытывает череду побед и поражений.

Такой взгляд на новые движения решительно противоречит традиционным представлениям политического мира о том, что есть демократия, а что является ее отрицанием. Столкнувшись с трудновыполнимыми и подрывными требованиями новых движений, выборные политики способны дать на них лишь один ответ: объявить самих себя воплощением демократического выбора, внушая нам, что у нас есть шанс производить этот выбор, раз в несколько лет участвуя в голосовании, и что всякий, кто создает проблемы, требуя решительных перемен в иное время или иными способами, тем самым нападает на саму демократию. (Любопытно, что они никогда не упоминают о постоянном нажиме со стороны деловых кругов, требующих от них политических поблажек, но об этом было уже достаточно сказано в своем месте.) С этой точки зрения творчески беспокойный демос является антидемократической толпой.

Здесь мы должны быть осторожными. В настоящее время, помимо феминистских и экологических движений, в число групп, стремящихся привлечь к себе внимание, входят экстремистские группировки защитников прав животных, радикальные участники

антикапиталистической (антиглобалистической) кампании, расистские организации и различные зарождающиеся движения линчевателей — борцов с преступностью. Было бы ошибкой радоваться всякий раз, как политическому классу больно ощиплют перья: так мы придем к одолевающему многих искушению расточать абсурдные и опасные восторги в адрес австрийца Йорга Хайдера, голландца Пима Фортейна и подобных им популистов и расистов из Бельгии, Франции, Дании и других стран. Всякий раз нам следует делать выбор, причем на двух уровнях. Первый — это решение о том, признать ли за данным новым движением его совместимость с демократией и способность вдохнуть в граждан энергию, не позволяя политике превратиться в игрушку для манипулирующих ею элит. Второй уровень — решение о том, следует ли оказывать личную поддержку целям этого движения, выступать против них или сохранять нейтралитет.

Есть разница между тем, что мы приветствуем как демократы, и тем, что мы реально поддерживаем как эгалитарные демократы. Но я настаиваю, что мы делаем решения и выносим суждения именно в этом отношении, а не в отношении того, к чему стремится привлечь наше внимание политический класс, желающий внушить нам, что демократическими могут считаться только те группы и вопросы, которые уже полностью переварены его аппаратом. За образом деструктивного негативизма, который преследует новое антиглобализационное движение, на самом деле скрывается много конструктивных и инновативных идей и групп, заинтересованных не в насилии и в противодействии экономическим переменам, а в серьезном поиске новых форм демократии и интернационализма, который бы не сопровождался эксплуатацией жителей третьего мира. Эти движения скорее «неоглобальны», чем «антиглобальны», по словам Делла Порты, одного из самых проницательных и восприимчивых наблю-

дателей (Della Porta, 2003). Все, озабоченные будущим не только демократии, но и просто достойной человеческой жизни, должны внимательно прислушаться к тому, что зарождается в этом плане.

Существует риск того, что вопросы мобилизации, которые будут определять дальнейшее развитие левоцентризма, в частности судьбу кампаний против последствий бесконтрольного глобального капитализма, не получат должного внимания или вовсе будут проигнорированы некоторыми реформаторскими движениями. В результате инициатива оглашения новых проблем переходит к ультраправым. Если эта тенденция продолжится, правые не только сумеют сформулировать и аранжировать немногие формы выражаемого недовольства, получившие политическую значимость, но и смогут заявлять о своей мнимой непричастности к замкнутому миру политического класса, выступая непосредственно от имени народа и обращаясь к народу, и формировать идентичности из бесформенной усредненной массы современного избирателя. Расистские и популистские движения уже играют новую, респектабельную роль в политике современных западноевропейских стран. Они могут не опасаться того, что умеренные партии вступят с ними в конкуренцию и попытаются отбирать голоса у ультраправых, имитируя их враждебность к иммигрантам и этническим меньшинствам, хотя большинство умеренных поддается этому искушению. Сама по себе борьба с расизмом тоже не представляет угрозы для ультраправых. Нам требуются альтернативные разновидности движений и выражения недовольства, которые бы стали соперниками и конкурентами движений, организованных популистами. Ультраправые тоже говорят о проблемах глобализации и мондialisации, но призывают решать эти проблемы за счет иммигрантов, которые сами являются величайшими жертвами глобализации, а не причиной заявленных проблем. Внимание недовольных следует привлечь

к истинным причинам проблем: к крупным корпорациям и погоне за наживой, разрушающим сообщество и порождающим нестабильность по всему миру.

Не удастся одолеть популизм и попытками выйти за рамки политики идентичности, к чему призывают нас сторонники третьего пути с их стремлением отказаться от самой идеи идентичности. Как указывал Пиццорно (Pizzorno, 1993, 2000), политические партии, претендующие на то, чтобы представлять народные массы, должны делать это, формулируя идентичность данных людей и тем самым определяя проблемы и интересы выделяемой таким образом группы. Нужно отметить, что с такими идентичностями не связано никаких неотъемлемых черт личности и что многое зависит от мобилизационных навыков политиков, решавших эту задачу. Но пусть эти идентичности носят искусственный характер, последствия успешного формирования идентичностей оказываются вполне осозаемыми. Если людей поощряют к построению своей идентичности на основе оппозиции конкретным расовым группам или государственным служащим, а основной причиной их недовольства называются именно эти группы, то политики сосредоточат свой огонь по этой мишени, забыв обо всех остальных проблемах. Существует много потенциальных идентичностей, формирующихся вокруг новых профессий и новых форм семейной жизни, которые создаются в постиндустриальной экономике. Отставание с их формированием и мобилизацией связано не с отсутствием потребности в презентации, а с нежеланием существующих организаций выявлять эти идентичности и с проблематичностью создания новых организаций в контролируемом, перенаселенном пространстве современной политики. В частности, для левых организаций отрицание своей роли в формировании идентичности за пределами узкого круга элиты означает отказ от важнейшего источника собственной жизнеспособности (Pizzorno, 2000, 2001).

Традиционные партии могут полагать, что участие в новых социальных движениях сопряжено со слишком большим риском. Большинство попыток выявления идентичностей провалится, и лишь немногие увенчиваются успехом. Традиционная партия рискует растратить все свои ресурсы на спекулятивные попытки создать конкретную точку приложения политических сил, которая в итоге окажется неработоспособной. С другой стороны, крупные корпорации нередко избегают рискованных инвестиций, но внимательно следят за многочисленными мелкими компаниями, и если какой-либо из них случится набрести на удачную идею, эта компания поглощается. Аналогичным образом нам необходим открытый рынок конкурентной борьбы за определение политических идентичностей, который бы лежал за пределами олигополистической арены традиционных партий, но поблизости от нее. В работе этого рынка должны участвовать представители партий, чтобы последние могли брать удачные находки на вооружение. Соответственно, демократическая политика нуждается в энергичном, хаотичном, шумном контексте, состоящем из всевозможных движений и группировок. Они создают питательную среду для грядущих демократических всходов.

В качестве очень важных примеров можно назвать события 2002–2003 годов в Италии, когда правительство Берлускони все более решительно и беспардонно добивалось принятия законов, направленных на защиту прошлой, нынешней и будущей деловой практики его лидеров от финансовых ревизий и уголовного преследования. Ответом на это стало широкое протестное движение с массовой социальной базой, способное на проведение масштабных публичных шествий и демонстраций и в основном организованное за рамками левоцентристских партий, которые не сумели адекватным образом выразить негодование и озабоченность многих граждан и к тому же

сами оказались в опасной близости от подобных связей между политикой и бизнесом. Партии, за исключением Всеобщей итальянской конфедерации труда — главной профсоюзной конфедерации страны, — сперва старались держаться в стороне от этих акций, опасаясь, что современное население проявит больше враждебности к политикам, марширующим по улицам в знак протesta против коррупции, чем к самим подозреваемым в коррупции.

Призывы к беспристрастности судебной системы и честности бизнеса едва ли можно назвать радикальными; в XVIII веке они воспринимались как минимальные требования, обеспечивающие эффективность капиталистической экономики. То, что в Италии XXI века они стали лозунгами для сплочения внепарламентской оппозиции, служит еще одним подтверждением кризисного состояния итальянской демократии. Однако пример Италии позволяет сделать некоторые обобщения. Во-первых, в отличие от американских избирателей после президентских выборов 2000 года, многие итальянцы демонстрируют, что простых людей может волновать вопрос о неподкупности политической системы и что они вовсе не пресытились и не впали в цинизм. Во-вторых, оказывается, что вполне возможно организовать крупное политическое движение без помощи политического класса. В-третьих, не исключено, что политическому классу левоцентристов следовало бы держаться в стороне и не принимать непосредственного участия в новых движениях, поскольку он, не желая рисковать популярностью, станет помехой для каких-либо радикальных шагов. Наконец, что самое важное, мы видим ошибочность суждения о том, что вопрос о понаехавших иммигрантах в любых условиях будет волновать людей сильнее, чем какие-либо проблемы, неудобные для политиков правого толка. О том же нам говорит и исчезновение генетически модифицированных продуктов из супермаркетов большинства европейских стран в ответ

на массовое недовольство потребителей. Этот же вывод можно распространить, допустим, на озабоченность все более опасными условиями труда. Подобные кампании могут стать не менее популярными, чем движения ультраправых, однако кампании не возникают сами по себе, если их не проводить сознательно, отталкиваясь от интересов участников и выявляя причины их недовольства.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, эгалитарные демократы, описав полный круг, пришли к тому состоянию, в котором они пребывали в конце XIX века, когда, не имея своей партии, им приходилось лоббировать политические элиты других партий? Нет, потому что мы описываем не круг, а путь. Двигаясь по ее траектории, мы пришли в новую точку, имея в багаже историю организационного строительства и достижений, которую нельзя разбазаривать. Двойственность этой ситуации диктует нам, видимо, противоречивые уроки. Во-первых, необходимо не оставаться глухими к потенциалу новых движений — пусть даже поначалу их бывает трудно понять, но они могут быть носителями жизненной силы будущей демократии. Во-вторых, необходимо лоббировать традиционные и новые организации, потому что лоббирование — это главный механизм постдемократической политики. Даже если интересы, отстаиваемые эгалитаристами, всегда слабее, чем интересы крупных корпораций, отказ от лоббирования не прибавит им силы. В-третьих, нужно участвовать в работе партий, не стесняясь критиковать их и выдвигать свои условия, потому что в способности проводить эгалитарную политику с партиями не сравнится ни один из их постдемократических суррогатов.

Однако при этом мы знаем, что любые цивилизованные демократические дискуссии по многим стоящим перед нами серьезным вопросам будут затопта-

ны глобальными компаниями с их заявлениями о том, что они не смогут прибыльно работать, если не освободить их от надзора и соблюдения требований социального обеспечения и перераспределения. К тому же самому сводилось главное бремя политической позиции капитализма в XIX — начале XX века. Он был вынужден пойти на шаг, который в ретроспективе представляется временным компромиссом между всевозможными факторами, такими как его собственная неспособность обеспечить долговременную экономическую стабильность; неуправляемое насилие, к которому порой приводили его собственные заигрывания с фашизмом и конфронтация с коммунизмом; по большей части ненасильственное, но все равно пагубное противостояние с профсоюзами; полная неэффективность оставленной без присмотра социальной инфраструктуры; растущая привлекательность социал-демократических партий и политических альтернатив.

Насколько существенное место в этом сложном уравнении занимали реальные и гипотетические хаос и разрушения? Невозможно делать вид, будто они не играли никакой роли. И социальный компромисс середины XIX века, и связанный с ним период относительно максимальной демократии, сами по себе будучи воплощением мира и порядка, были выкованы в ходе процесса, нередко сопровождавшегося кровопролитием. Необходимо не забывать об этом, когда мы осуждаем антиглобалистов за их склонность к насилию, за их анархизм и неспособность предложить какую-либо серьезную альтернативу капиталистической экономике. Мы должны задаться вопросом: сможет ли что-нибудь, помимо масштабной эскалации реально разрушительных действий подобного рода, создать достаточную угрозу прибылям глобального капитала для того, чтобы посадить его представителей за стол переговоров и положить конец детскому рабству и прочим формам насилиственного труда, за-

## VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: КУДА МЫ ДВИЖЕМСЯ?

грязнению среды, реально разрушающему нашу атмосферу, хищническому расходованию невозобновляемых ресурсов, колоссальному и растущему материальному неравенству между странами и внутри самих стран? Вот те проблемы, которые в первую очередь грозят здоровью современной демократии.

## ЛИТЕРАТУРА

- Даль Р. 2003. *Демократия и ее критики*. М.: РОССПЭН.
- Кляйн, Н. 2005, *No Logo*. М.: Добрая книга.
- Линдблом, Ч. 2005, *Политика и рынки*. М.: ИКСИ.
- Патнэм, Р. 1996. Чтобы демократия сработала. М.: Ad Marginem.
- Хиршман, А.О. 2008, *Выход, голос и верность*. М.: Новое издательство.
- Almond, G. A. and Verba, S. 1963, *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press.
- Bagnasco, A. 1999, «Teoria del capitale sociale e political economy comparata», *Stato e Mercato*, 57.
- Castells, M. 1996, *The Rise of Network Society* (Oxford: Blackwell).
- Corbett, J. and Jenkinson, T. 1996, «The Financing of Industry, 1970–1989: An International Comparison», *Journal of the Japanese and International Economies* 10: 71.
- Crick, B. 1980, *George Orwell: A Life*. London: Secker and Warburg.
- Crouch, C. 1999a, *Social Change in Western Europe*. Oxford: Oxford University Press.
- 1999b, «The Parabola of Working Class Politics», in Gamble, A. and Wright, T. (eds.), *The New Social Democracy*. Oxford: Blackwell.
- Della Porta, D. 2000, Political Parties and Corruption: 17 Hypotheses on the Interactions between Parties and Corruption. Working Paper RSC 2000/60. Florence: European University Institute, 2000.
- and Diani, M. 1999, *Social movements: an introduction*. Oxford: Blackwell.

## Колин Крауч. Постдемократия

- and Mény, Y. (eds.) 1997, *Démocratie et corruption en Europe*. Paris: La Découverte.
- and Vannucci, A. 1999, *Corrupt Exchanges: Actors, Resources, and Mechanisms of Political Corruption*. New York: Aldine de Gruyter.
- Dore, R. 2000, *Stock Market Capitalism: Welfare Capitalism: Japan and Germany versus the Anglo-Saxons*. Oxford: Oxford University Press.
- Eder, K. 1993, *The New Politics of Class: Social Movements and Cultural Dynamics in Advanced Societies*. London: Sage Publications.
- Freedland, M. R. 2001, «The Marketization of Public Services», in Crouch, C., Eder, K. and Tambini, D. (eds.), *Citizenship, Markets and the State*. Oxford: Clarendon Press.
- Giddens, A. 1998, *The Third Way*. Cambridge: Polity.
- Hardin, R. 2000, 'The Public trust', in Pharr and Putnam (2000), q. v.
- Hatcher, R. 2000, «Getting down to Business», paper presented at conference on Privatisierung des Bildungsbereichs, University of Hamburg.
- Kiser, E. and Laing, A. M. 2001, «Have We Overestimated the Effects of Neoliberalism and Globalization? Some Speculations on the Anomalous Stability of Taxes on Business», in Campbell, J. L. and Pedersen, O. K. (eds.), *The Rise of Neoliberalism and Institutional Analysis* (Princeton: Princeton University Press).
- Maravall, J. M. 1997, *Regimes, Politics and Markets: Democratization and Economic Change in Southern and Eastern Europe*. Oxford: Oxford University Press.
- Marshall, T. H. 1963, *Sociology at the Crossroads and Other Essays*. London: RKP.
- Mulgan, G. 1994, *Politics in an Antipolitical Age*. Oxford: Polity Press.
- 1997 (ed.), *Life after Politics: New Thinking for the 21st Century*. London: Demos and Fontana.

- OECD 1997, *Employment Outlook June 1997*. Paris: OECD.
- OECD 2001, «When Money is Tight: Poverty Dynamics in OECD Countries», *Employment Outlook June 2001*. Paris: OECD.
- Pharr, S. J. and Putnam, R. D. (eds.) 2000, *Disaffected Democracies: What's Troubling the Trilateral Countries?* Princeton, N. J.: Princeton University Press.
- , —, and Dalton, R. J. 2000, 'Introduction', in Pharr and Putnam q. v.
- Piselli, F. 1999, «Capitale sociale: un concetto situazionale e dinamico», *Stato e Mercato*, 57.
- Pizzorno, A. 1977, «Scambio politico e identità collettiva nel conflitto di classe», in Crouch, C. and Pizzorno, A. (eds.), *Conflitti in Europa: Lotte di Classe, Sindacati e Stato dopo il '68* (Milan: Etas Libri).
- 1993, *Le radici della politica assoluta e altri saggi*. Milano: Feltrinelli.
- 2000, «Risposte e proposte», in Della Porta, D., Greco, M., and Szakoczai, A. (eds.), *Identità, riconoscimento, scambio* (Roma: Laterza).
- Price, D., Pollock, A., and Shaoul, J. 1999, «How the World Trade Organization is Shaping Domestic Policies in Health Care». *The Lancet*, 354, November 27.
- Reich, R. 1991, *The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21<sup>st</sup> Century Capitalism*. New York: Vintage Books.
- Schmitter, P. C. 2002, «A Sketch of what a „Post-Liberal“ Democracy Might Look Like». Florence: European University Institute, unpublished manuscript.
- and Brouwer, I 1999, *Conceptualizing, researching and evaluating democracy promotion and protection*. Working Paper SPS 99/9 Florence: European University Institute.
- Titmuss, R. M. 1970, *The Gift Relationship: from Human Blood to Social Policy*. London: Allen & Unwin.

Колин Крауч. Постдемократия

- Trigilia, C. 1999, «Capitale sociale e sviluppo locale»,  
*Stato e Mercato*, 57.
- Van Kersbergen, K. 1996, *Social Capitalism: A Study  
of Christian Democracy and the Welfare State*.  
London: Routledge.
- Visser, J. and Hemerijck, A. 1997, *A Dutch «Miracle»*.  
Amsterdam: Amsterdam University Press.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

КОЛИН КРАУЧ

*Что последует за упадком  
приватизированного  
кейнсианства?\**

После окончания Второй мировой войны в политической экономии развитых капиталистических стран последовательно доминировали две модели; обе продержались приблизительно по тридцать лет, прежде чем стинуть в ходе экономических катализмов. Теперь мы наблюдаем рождение новой модели, пока еще не вполне определенной. Однако какими могут быть ее главные черты? Первой моделью была кейнсианская стратегия управления спросом (в некоторых странах к ней добавлялась неокорпоративистская система трудовых отношений). Эта модель так или иначе развалилась под грузом инфляции, вызванной ростом товарных цен в 1970-х, освободив место для того, что обычно именовали неолиберализмом, но на самом деле, как мы видим после кризиса осени 2008 года, являлось моделью приватизированного кейнсианства.

При первоначальном кейнсианстве для стимуляции экономики в долги входило правительство; при приватизированной форме кейнсианства эту роль — на условиях рынка — принимают на себя индивиды (особенно бедные). Главными двигателями здесь были постоянно растущая стоимость домов, в которых жили их владельцы, наряду с неудержимым ростом на высокорис-

\* Впервые опубликовано в: Colin Crouch, «What Will Follow the Demise of Privatised Keynesianism?» *Political Quarterly*, October–December 2008, Vol. 79, no. 4, P. 476–487. Перевод с английского Алексея Апполонова.

ковых рынках. Эта система рухнула отчасти по причине возобновления инфляции предложения (обусловленной ростом цен на энергоносители и другие товары), но в основном в силу внутренних противоречий.

Обе системы должны были как-то разрешать одно важное противоречие (по крайней мере напряженность) — между незащищенностью и неопределенностью, создаваемыми потребностью рынка приспосабливаться к экономическим шокам, и необходимостью для демократической политики отвечать на запросы граждан, желающих защищенной и предсказуемой жизни. То, что в отношениях между капитализмом и демократией имеется некая напряженность, может стать откровением для тех, кто (в частности, в США) использует эти термины практически как синонимы, но эта напряженность фундаментальна в том, что касается аспектов защищенности при осуществлении трудовой деятельности. Кроме того, имеется и другая напряженность, связанная с этой: напряженность внутри развитого капитализма как такового, который, с одной стороны, нуждается в потребителях, основываясь на уверенности которых фирмы могут планировать свое производство, а с другой стороны, должен в периоды падающего спроса снижать размеры зарплат, что, в свою очередь, подрывает уверенность потребителей. Эта напряженность не может быть устранена полностью, поскольку внутренне присуща единственной известной нам успешной форме политической экономии; она может только управляться посредством сменяющих друг друга моделей, каждая из которых в конце концов изнашивается и требует своей замены на нечто новое.

Основной проблемой здесь является тот двусмысленный дар, которым демократия последовательно на-деляла капитализм на протяжении всего XX столетия. До этого основная масса народонаселения существовала на крайне низкие доходы, которые росли очень медленно. Идея потребительской уверенности, если

она вообще ком-то осознавалась в то время, могла относиться только к малой, богатейшей, части общества. Потребность основной массы населения в лучшей жизни рассматривалась как нереализуемая, и хотя ранняя социальная политика в Германии, Британии, Франции и других странах была направлена на то, чтобы дать рабочему классу хоть какую-то защищенность, ее возможности были весьма ограничены. Страх перед возможными революционными последствиями демократии все еще нередко приводил отдельные элиты на путь репрессий — изначально реакционного, а затем фашистского и нацистского типов.

Как известно, первой попыткой разрешить эту проблему стало в начале XX века массовое фабричное производство (изначально ассоциировавшееся с *Ford Motor Company* в США). Технологии и организация труда смогли значительно повысить производительность низкоквалифицированных рабочих; в результате товары стали более дешевыми, а зарплаты повысились, так что рабочие смогли покупать больше этих самых товаров. Массовый потребитель стал реальностью. Знаменательно, что этот прорыв произошел в большой стране, которая за весь предшествующий период подошла к идеи демократии наиболее близко (хотя и на расовой основе). Демократия, наряду с технологиями, внесла свой вклад в построение этой модели. Однако, как показал крах Уолл-Стрит в 1929 году, случившийся всего через несколько лет после запуска фордистской модели, проблема согласования нестабильности рынка с потребностью стабильности у потребителя-избирателя осталась нерешенной. Именно на этом этапе возникло то, что стало позже известно как кейнсианская модель, которая будет вкратце описана ниже. Как пытались решить названную проблему в рамках модели, наследовавшей кейнсианству, — вопрос более сложный; это исследование приведет нас прямо к самой сути текущего кризиса. Наконец, мы попытаемся заглянуть в будущее.

## СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И УЯЗВИМОСТЬ КЕЙНСИАНСКОЙ МОДЕЛИ

Механизм работы кейнсианской модели управления спросом довольно прост. Во время рецессии, когда уверенность низка, правительства должны входить в долги, чтобы своими расходами стимулировать экономику. Во время инфляции, когда спрос избыточен, правительства должны сокращать свои расходы, выплачивать долги, снижая совокупный спрос. Модель подразумевает большие государственные бюджеты для того, чтобы изменения, в них производимые, могли оказывать должный макроэкономический эффект. Для британской и некоторых других экономик такая возможность открылась только с колossalным ростом военных расходов во время Второй мировой войны. Предшествующие войны также отличались ростом государственных расходов, которые, однако, резко снижались сразу после их завершения. Вторая мировая была исключением — после нее военные расходы были замещены ростом нового государства всеобщего благосостояния.

Кейнсианская модель защитила обычных людей от резких колебаний рынка, вносявших нестабильность в их жизни, слаживая влияние экономических циклов и позволяя им постепенно становиться надежным массовым потребителем продукции не менее надежной индустрии массового производства. Безработица понизилась до рекордно низкого уровня. Государство всеобщего благосостояния не только дало правительствам инструменты для управления спросом, но и предоставило помочь людям в тех важных областях, которые не относились непосредственно к рыночным структурам, а с этим — большую стабильность.

Беспристрастное управление спросом вместе с государством всеобщего благосостояния защищали остальную часть капиталистической экономики как от шока потребительской неуверенности, так и от атак

враждебных сил; в то же время жизнь трудящихся была защищена от прихотей рынка. Это был подлинный социальный компромисс. Как с самого начала указывали консервативные критики, кейнсианская модель страдала от инерционности: во время рецессии правительство могло легко повысить расходы, снизить безработицу, организовать больше общественных работ и наполнить кошельки людей большим количеством денег, однако в условиях демократии было бы крайне сложно отказаться от подобных действий во время бума. Это было зародышем грядущей гибели, содержащейся в самой сердцевине кейнсианской модели. Мы коснемся этого несколько позже. Сперва мы рассмотрим политические обстоятельства, которые сделали эту модель реальностью, так как содержащиеся в ней идеи к тому моменту витали в воздухе лет 15–20.

Согласно известным словам Карла Маркса, в определенные моменты исторических кризисов отдельные классы общества находятся в таком положении, что их частные интересы совпадают с интересами всего общества; именно эти классы побеждают в революциях, которыми завершаются кризисы. Но Маркс ошибался, считая, что, когда указанным классом станет международный пролетариат, процесс закончится, поскольку пролетариат был олицетворением всего общества, а не только частного интереса внутри него. Ошибкой это было хотя бы потому, что невозможно представить себе, чтобы такая большая группа, как мировой пролетариат, могла создать организацию, способную ясно выразить общие интересы. Как бы то ни было, кейнсианская модель является собой временное совпадение интересов промышленного рабочего класса глобального Северо-Запада и общих политико-экономических интересов системы. Это был класс, который представлял наиболее серьезную угрозу системе. Но это был также класс, потенциально способный обеспечить массовое потребление, которое, будь оно легкодоступным и гарантированным,

могло положить начало невиданному в истории экономическому росту. Кроме того, это был класс, создавший политические партии, профсоюзы и другие организации, а его интересы и требования выражались связанными с ним интеллектуалами. Кейнсианская модель в сочетании с фордистской системой стала ответом на эти требования, примирив их с капиталистической системой производства.

За этой общей картиной скрываются некоторые частности. Базовый кейнсианский подход вошел в публичную политику примерно за пять лет до начала Второй мировой войны в двух местах — в Скандинавии и США. В обоих случаях это стало результатом коалиции между силами, представлявшими промышленных рабочих и мелких фермеров. Американский «Новый курс» в этой завершенной форме был только временным соглашением. Скандинавское рабочее движение, куда более сильное, чем американское, смогло вывести эту модель на более высокий уровень — уровень государства всеобщего благосостояния; после войны этим же путем проследовало не менее мощное британское рабочее движение.

Рабочее движение континентальной Европы, сокрушенное войной, фашизмом и нацизмом, а также разделенное по религиозному признаку, было куда слабее. Кейнсианская модель как таковая развивалась здесь медленнее, а правительства использовали для стабилизации экономики иные средства. В некоторых странах, в частности в Италии и Франции, коммунисты имели реальную возможность возглавить рабочее движение. Правительства должны были удостовериться, что рабочий класс не окажется столь же незащищенным, как в 1920–1930-х годах. Государственная собственность в важнейших сферах экономики вкупе с сельскохозяйственными субсидиями должны были гарантировать, что все еще многочисленное крестьянство не станет разделять радикализма промышленных рабочих; такая политика обеспечивала стабильность

в первые послевоенные годы. Эти правительства действовали не столь тонко, как предполагало кейнсианство, и допускали значительно более активное государственное вмешательство в экономику, в то время как рост потребительского спроса был относительно медленным. Результаты, однако, были схожими в том, что касалось защиты доходов трудящихся от колебаний рынка. Со временем и в этих экономиках появились управление спросом и государство всеобщего благосостояния. В то же самое время масштабные денежные вливания со стороны США в рамках плана Маршалла подразумевали, что государственные расходы — на этот раз государственные расходы в других странах — еще больше простимулируют экономику и обеспечат большую защищенность трудящихся.

Германия стояла здесь особняком. Она получила все выгоды от плана Маршалла, но формально не принимала кейнсианскую модель вплоть до конца 1960-х, когда та, собственно, уже сходила со сцены. Изначально восстановление немецкой экономики происходило не за счет повышения спроса со стороны внутренних потребителей, но за счет производства средств производства (для восстановления производственных мощностей) и экспорта. Формальная экономическая политика страны опиралась на сбалансированный бюджет, автономный центральный банк и избегание инфляции любой ценой, то есть на элементы неолиберальной модели, которая наследовала кейнсианству. Можно, впрочем, сказать, что стабильность немецкой экономики этого периода зависела не столько от чистого рынка, сколько от кейнсианского окружения, то есть от кейнсианства других стран: от государственных расходов США в рамках плана Маршалла, роста потребительского спроса в США, Великобритании и т. д.

Однако Германия все же адаптировала один из элементов модели управления спросом: неокорпоративистскую систему в промышленности. Эта система

не была предвосхищена в работах самого Кейнса, также она практически не применялась в США и лишь частично — в Великобритании, в то же время она стала фундаментальной для Скандинавии, Нидерландов и Австрии. В рамках неокорпоративистской системы профсоюзы и объединения работодателей имеют отношение к установлению общего уровня цен на рабочую силу (в том числе в секторах экономики, ориентированных на экспорт). Такая система может работать только в тех странах, где данные организации обладают авторитетом, достаточным для того, чтобы условия договора не нарушались сколько-нибудь значительным образом. Названные выше страны, где такие коллективистские сделки имели серьезное значение, обладали небольшими по объемам экономиками, сильно зависящими от международной торговли. Германия стала единственной большой страной, выработавшей сходные в общих чертах соглашения, которые стали частью ее экономики, ориентированной прежде всего на рост экспорта, а не внутреннего потребления.

Важность неокорпорativизма в нашем случае заключается в том, что он указывает на ахиллесову пятку кейнсианства: инфляционные тенденции его политически обусловленной инерционности. Страны, проводившие кейнсианскую политику, но не адаптировавшие или адаптирующие в малой степени неокорпоративизм (прежде всего Великобритания, затем — пусть и в меньшей связи с кейнсианством — США, а к 1970-м также Италия и Франция), оказались крайне уязвимы к инфляционному шоку, вызванному общим ростом товарных цен в 1970-е — прежде всего ростом цен на нефть в 1973 и 1978 годах. Волна инфляции, поразившая развитые западные страны (хотя она и имела мало общего с тем, что пережила Германия в 1920-х или некоторые страны Латинской Америки в более поздний период), так или иначе разрушила кейнсианскую модель.

## К ПРИВАТИЗИРОВАННОМУ КЕЙНСИАНСТВУ

Интеллектуальный вызов кейнсианству уже давно ждал своего часа. Сторонники возвращения к «настоящему» рынку никогда не прекращали своей активности и уже имели наготове целый ряд альтернативных стратегий. Главной их целью было отстранение правительств от принятия на себя общей ответственности за экономику. Несмотря на то что в настоящей статье мы обращали основное внимание на управление спросом, кейнсианство было также символом более широкого набора инструментов регулирования, субсидирования и социального обеспечения. Сторонникам противоположных идей требовался подходящий исторический момент, чтобы оправдать свое понимание политики правительств и международных организаций. Таким моментом стал инфляционный кризис 1970-х. В течение десятилетия или около того ортодоксальными стали такие идеи, как абсолютный приоритет удержания инфляции на уровне, близком к нулю, над сохранением занятости, отстранение государства от помощи организациям и предприятиям в тяжелые времена, доминирование конкуренции, гла-венство в практике корпораций принципа максимизации акционерной стоимости над интересами всех участников производственного процесса, отказ от регулирования рынков и либерализация движения капитала в глобальном масштабе. Когда правительства стран со слабыми экономиками не хотели воспринимать эти идеи, их вынуждали к этому, сделав следование данным принципам условием членства в таких международных организациях, как МВФ, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития или Европейский союз. После краха СССР в 1989 году те его бывшие союзники, которые были наиболее близки к Западу, также приняли эту новую модель.

Следующей переменой стал закат национального государства. Послевоенная политическая экономия ос-

новывалась на правительствах, которые могли осуществлять автономные (и различные) действия по управлению экономиками своих стран. Начиная с 1980-х процесс, обычно именуемый глобализацией (бывший как продуктом deregulation финансовых рынков, так и его основной движущей силой), уничтожил значительную часть этой автономии. Единственными участниками, способными предпринимать оперативные действия на глобальном уровне, были транснациональные корпорации, которые предпочитали свое собственное частное регулирование правительству. Это дополнено новую модель и даже стало ее неотъемлемым признаком.

Точно так же, как носителем кейнсианской модели может считаться класс промышленных рабочих, мы можем выделить и тот класс, выразителем частных интересов которого в общем и целом стала новая модель: это класс финансовых капиталистов, географически локализованный преимущественно в США и Великобритании, но разбросанный также по всему земному шару. Если мир и обрел что-то от освобождения производительных сил и предпринимательства, обусловленного распространением свободного рынка, то наибольшую выгоду получил тот класс, который имел дело со сферой deregulated финанс, обеспечивших быстрый рост этого рынка. Если при ограниченном рынке труда и регулируемом капитализме кейнсианского периода во всех развитых странах происходило поступательное сокращение неравенства, то в последующий период произошло резкое переворачивание этой тенденции, причем наибольшую выгоду от этого получили (по крайней мере на Западе) владельцы и сотрудники финансовых институтов.

Здесь немедленно возникает два вопроса. Во-первых, какова судьба промышленного рабочего класса, интересы которого казались столь политически значимыми в 1940–1950-х годах? И что стало с необходимостью примирить нестабильность рынка с потреб-

ностью людей в стабильности в их собственной жизни, учитывая важность такого примирения как в экономическом, так и в политическом аспектах?

Начало кризиса кейнсианства в 1970-х сопровождалось мощной волной выступлений промышленных рабочих, такой, что можно было подумать, что вызов со стороны этого класса стал даже более, а не менее значительным. Но это было иллюзией. Повышение производительности труда и глобализация производства фактически подорвали демократическую базу движения. Доля занятости в добывающей и обрабатывающей промышленности начала снижаться — сначала в США, затем в Великобритании и Скандинавии, а позже и в других западных странах. Волнения 1970-х послужили лишь тому, что правительства постарались ускорить этот процесс, как это было, например, в Великобритании в 1980-х при сокращении угольного и некоторых других секторов промышленности. Промышленные рабочие никогда и nowhere не составляли основную массу трудящихся, но если ранее их численность увеличивалась, то теперь она стала снижаться. К 1980-м годам лидерство в организации волнений перешло от них к работникам государственного сектора, с которыми правительства могли договариваться непосредственно, особо не беспокоя рыночную экономику. В то же время работники основного распущенного сектора новой экономики, частной сферы услуг, как правило, не имели политических организаций или каких-либо автономных политических программ, могущих выражать их специфические требования.

В режиме deregulation международных финанс, установленном в 1980-х, правительства куда больше беспокоились о движении капиталов, нежели о рабочих движениях: в позитивном аспекте — поскольку заботились о привлечении инвестиций со стороны свободно перемещающегося капитала, преследовавшего кратковременные интересы; в негативном аспекте — поскольку опасались, что таковой капитал быстро уйдет, если условия покажутся ему неподходящими.

Однако, как мы уже отмечали, кейнсианская модель удовлетворяла экономическую потребность самих капиталистов в стабильном массовом потреблении, равно как и потребность рабочих в стабильной жизни. Для новых промышленных стран Юго-Восточной Азии это не было проблемой. Страны этого региона, вплоть до недавнего времени преимущественно недемократические, зависели не tanto от внутреннего спроса, сколько от экспорта. Однако такая ситуация была невозможной для развитых экономик. Более того, зависимость в них не tanto от экспорта, сколько от роста внутреннего потребления усиливалась, а не ослабевала. Как только отрасли, зарабатывающие на производстве товаров массового потребления, переместились в новые промышленные страны или, если они остались, стали нуждаться в меньшем количестве рабочих рук, рост занятости стал зависеть от ситуации на рынке частных услуг, который не tanto подвержен глобализации. Не составляет проблемы купить в западном магазине произведенную в Китае футболку и выгадать на низких зарплатах китайских рабочих, но вряд ли можно съездить в Китай, чтобы сэкономить на парикмахерской. Иммиграция является единственным аспектом воздействия глобализации на сферу услуг, но ее эффект ограничивается контролем за перемещением населения (которое хотя и не получило выгод от либерализации рынков, но, в общем, интенсифицировалось), а также тем фактом, что зарплаты иммигрантов, будучи, как правило, низкими, все же не tanto низки, как в их собственных странах. Так что проблема остается: если для установления экономики массового потребления нестабильность свободных рынков должна была быть преодолена, то как последняя пережила возращение первой?

В течение 1980-х (или 1990-х, в зависимости от того, когда неолибералы установили контроль над экономическими отдельных стран) создавалось впечатление, что ответ должен быть отрицательным, поскольку главными

признаками этого периода стали рост безработицы и продолжительная рецессия. Но затем ситуация изменилась. К концу XX века Британия и особенно США продемонстрировали сокращение безработицы и устойчивый экономический рост. Одно возможное объяснение заключается в том, что в действительно чистой рыночной экономике не бывает быстрой смены подъемов и спадов, которая ассоциируется с ранней историей капитализма. Совершенному рынку соответствует совершенное знание, следовательно, рационально действующие рыночные субъекты могут в совершенстве предвидеть, что должно произойти, а потому адаптировать свое поведение таким образом, чтобы сгладить остроту ситуации. Однако действительно ли США и Британия достигли в конце столетия этой нирваны?

Нет. Знание далеко от совершенства; внешние шоковые воздействия (будь то ураганы, войны или иррациональные действия людей, поступающих отнюдь не так, как они должны поступать в теории) продолжали оказывать влияние на экономику и нарушать расчеты. Как нам теперь известно, неолиберальную модель удерживали от нестабильности, которая могла стать для нее фатальной, только две вещи: рост кредитных рынков для бедных и людей со средним достатком и рынков деривативов и фьючерсов — для очень богатых. Эта комбинация породила модель приватизированного кейнсианства, которая исходно сложилась стихийно под воздействием рынка, но постепенно стала объектом государственной политики, важным настолько, что начала угрожать всему неолиберальному проекту.

Вместо правительств в долги — для стимулирования экономики — стали входить частные лица. В дополнение к росту рынка недвижимости наблюдался необычайный рост возможностей получения банковских займов и, что особенно важно, займов по кредитным картам. Для человека было обычным делом держать кредитные карты от нескольких компаний и нескольких торговых сетей.

Именно здесь лежит ответ на главный вопрос данного периода: каким образом американские рабочие при их относительно небольшой зарплате, не увеличивавшейся в течение многих лет, и отсутствии серьезных гарантий от неожиданного увольнения сохраняли высокую потребительскую уверенность, в то время как европейские рабочие, более защищенные от потери своих мест, с ежегодно растущими доходами, привели свои экономики в ступор, отказавшись тратить деньги? В США цены на дома росли ежегодно; вместе с ними росло и соотношение между стоимостью дома и размером займа под его залог, превысив в конце концов 100%; кроме того, росли возможности получения займов по кредитным картам. За редким исключением цены на европейскую недвижимость оставались стабильными. Рост займов по кредитным картам также был медленным.

Эксперты-ортодоксы говорили европейцам, что их экономические проблемы можно решить путем снижения защищенности трудящихся и сокращения социальных расходов. Европейские страны наконец стали — в той или иной степени — проводить эту политику, но позитивных результатов почти не показали. Никто не сказал им, что для того, чтобы произошел взрыв потребительских расходов, эти незащищенные рабочие должны иметь возможность брать необеспеченные кредиты.

В Британии и Америке антиинфляционная направленность экономической политики еще больше укрепила эту модель. Эта политика позволила снизить цены на товары и услуги, теряющие стоимость после своего потребления. Производители продуктов питания, промышленных товаров и услуг (таких, которые предлагают, например, рестораны или оздоровительные центры) оказались в ситуации, когда повышение цен принималось потребителями в штыки. Это, однако, не относилось к активам — вещам, которые не утрачивают свою стоимость подобным образом: недвижи-

мости, финансовым активам, некоторым предметам искусства. Когда британское правительство при расчете инфляции перестало учитывать выплаты по ипотеке, но не ренту, это выглядело как политическая манипуляция, хотя технически было вполне корректным. Итак, активы и получаемые с них доходы не являлись объектами антиинфляционной неолиберальной политики. Таким образом, любое перемещение чего-либо из сферы цен и зарплат, получаемых с продажи обычных товаров, в сферу активов рассматривалось как положительное явление. Это относилось, например, к выплате части заработной платы в акциях предприятия или к расходам, производимым благодаря пролонгированию ипотеки, а не за счет собственно заработной платы.

Наконец правительства, особенно британское, пытались внедрить идеи приватизированного кейнсианства (хотя само это словосочетание и не употреблялось) в процесс разработки государственной политики. Хотя снижение цен на нефть считалось хорошей новостью (поскольку снижалось и инфляционное давление), снижение цен на недвижимость толковалось как бедствие (поскольку подрывало доверие к должникам), в связи с чем правительства старались прибегнуть к фискальным и иным мерам для того, чтобы вернуть цены к прежнему уровню. Впервые имплицитная государственная поддержка данной модели была оказана еще в 1980-х, когда приватизация муниципального жилья позволила большой группе людей с небольшим достатком получить ипотечные кредиты и, уже позже, воспользоваться пролонгируемой ипотекой. Однако более эксплицитно политика поддержания постоянного роста цен на недвижимость начала проводиться в первые годы XXI столетия, вплоть до масштабных интервенций в финансы, связанные с недвижимостью, и в банковский сектор в целом в 2007–2008 годах.

Большая часть этих ипотечных и потребительских долгов была неизбежно не обеспечена, поскольку только в этом случае приватизированное кейнси-

анство могло оказывать то же стимулирующее противоциклическое воздействие, которое оказывало первоначальное кейнсианство. Займы под реальные гарантии определенно не могли помочь группам населения, не имеющим высоких доходов, продолжать траты, несмотря на незащищенность на рынке труда. Широкое распространение пролонгируемых небеспеченных долгов стало возможным благодаря инновациям на финансовых рынках, инновациям, которые долгое время казались прекрасным примером того, как рыночные субъекты, предоставленные сами себе, предлагают творческие решения. Благодаря рынкам деривативов и фьючерсов крупнейшие англо-американские финансовые игроки научились продавать риски. Они обнаружили, что могут покупать и продавать рисковые активы, обеспеченные только уверенностью покупателя, что и он в свою очередь найдет другого покупателя — благодаря той же уверенности. Учитывая, что рынки были свободны от регулирования и способны к экстенсивному росту, такие сделки позволяли распределить риски между очень большим числом игроков, вследствие чего люди осуществляли рискованные инвестиции, которые в иных обстоятельствах сочли бы неразумными.

Невозможность широкого распределения рисков составляла самую суть экономических коллапсов 1870 и 1929 годов. В 1940-х, судя по всему, только действия государства решили для рынков эту проблему. Однако сейчас, в полном соответствии с основными принципами и ожиданиями неолиберализма, это должно было стать рыночным решением. Именно благодаря связи новых рисковых рынков с обычными потребителями через пролонгируемую ипотеку и долги по кредитным картам была упразднена зависимость капиталистической системы от роста зарплат, государства всеобщего благосостояния и управления спросом со стороны правительства, которые казались важными для сохранения массового потребления.

## ПОСЛЕ ПРИВАТИЗИРОВАННОГО КЕЙНСИАНСТВА: ОТВЕТСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ?

На самом деле эта зависимость была упразднена только на несколько лет. Все теории рыночной экономики исходят из допущения, что рыночные субъекты обладают полной информацией. Однако приватизированное кейнсианство основывалось на том, что знания субъектов, причем тех, которые считаются наиболее рационально действующими, то есть финансовых институтов Уолл-стрит и лондонского Сити, были крайне несовершенными. Это было ахиллесовой пятой модели, которая соответствовала инфляционной инерционности первоначального кейнсианства. Банки и другие финансовые операторы считали друг друга изучившими и просчитавшими риски, с которыми они имели дело. Но осенью 2008 года стало очевидно, что если бы они действительно произвели эти расчеты, то откались бы от многих совершенных ими транзакций. Похоже, что единственный расчет, который они произвели, был расчетом на то, что кто-то еще приобретет у них рисковые активы. Остается тайной, почему они (если все действовали сходным образом) отчего-то считали, что другие не рассчитывают на то же самое. Плохие долги опирались на плохие долги и так далее — пирамида росла в геометрической прогрессии.

Некоторые люди весьма обогатились в этом процессе, но это не значит, что они были паразитами. Они оставались классом, чьи частные интересы совпадали с общественными — постольку, поскольку мы все получали выгоды от роста покупательной способности, который обеспечивала система. Это справедливо по крайней мере для США, Великобритании и пары других стран. Граждане Франции, Германии и прочих стран континентальной Европы могут испытывать иные чувства по отношению к участию во всем этом своих финансовых элит, так как рост кредитования коснулся их в малой степени.

Как только приватизированное кейнсианство стало общезначимой экономической моделью, оно стало также и неким общественным благом, несмотря на то что базировалось на действиях частных лиц. И если принять во внимание, что необходимым для него — тем, что его питало, — было безответственное поведение банков, неосмотрительно использовавших свои средства, следует признать, что сама безответственность стала общественным благом. Это само по себе объясняет, почему правительства должны были спасать вовлеченные во все это компании, более или менее национализируя приватизированное кейнсианство.

Так завершила свои дни вторая модель примирения стабильного массового потребления с рыночной экономикой. И кейнсианство, и его приватизированный мутант-наследник продержались приблизительно по 30 лет. Когда в быстро меняющемся мире меняются также и модели — это, возможно, к лучшему. Однако возникает вопрос: как теперь примирить капитализм и демократию? Кроме того, как устраниТЬ чудовищный моральный вред, нанесенный признанием правительством финансовой безответственности в качестве колективного блага? Политическим ответом должен быть не окрик «немедленно прекратите все это», а призыв — «пожалуйста, продолжайте брать и давать взаймы, но делайте это более осторожно». Так должно быть, поскольку в противном случае мы столкнемся с реальной угрозой коллапса всей системы.

Переход от довоенной экономики к кейнсианству, а затем — к приватизированной его форме характеризовался двумя важными моментами: наличием альтернативных идей и существованием класса, чьи интересы совпадали с интересами общества. Стало модным говорить, что в настоящее время у нас нет ни того, ни другого. Но это не так.

Многие из идей, составивших костяк неолиберализма, ждали своего часа около 200 лет, прежде чем в обновленном виде стать государственной политической в 1970-х. Сегодня многие компоненты куда более

позднего синтеза управления спросом и неокорпоративизма все еще сохраняются в экономических стратегиях небольших стран, обычно в сочетании с некоторой дозой неолиберализма. В связи с этим наиболее часто упоминают, пусть и не уникальный, датский опыт соединения сильного государства всеобщего благосостояния и мощных профсоюзов с очень гибким рынком труда. Такой синтез, как кажется, решает проблему совмещения гибкости рынка и уверенности потребителей и способен запустить динамичную и инновационную экономику. В общем, нет недостатка в возможных комбинациях различных экономических политик, но есть недостаток в коалициях политических сил, способных проводить эти политики в больших экономиках; и это возвращает нас к вопросу о значимых общественных классах.

Возможно, нынешняя заносчивость финансового сектора, требующего для себя право приватизировать прибыли и социализировать убытки, подобна выступлениям промышленных рабочих в 1970-х — великолепие, предшествующее историческому закату. Но это вряд ли. Экономическое процветание все еще зависит от притока капитала с действующими рынков — куда больше, чем в 1970-х оно зависело от промышленных рабочих Запада. Географический аспект имеет здесь очень большое значение. Закат класса западных промышленных рабочих не означает заката класса промышленных рабочих в мировом масштабе. Сегодня в промышленное производство вовлечено больше людей, чем когда-либо прежде. Однако они разделены по национальным, вернее, региональным массивам, имеющим различные истории и траектории развития. Финансовый капитал нельзя уподобить массиву; скорее, он напоминает жидкость или газ, способный изменять форму и распространяться во всех направлениях и по всем регионам. Мы продолжаем зависеть как от труда, так и от капитала, но первый подчиняется принципу *divide et impera*, а второй — нет (разве что мы увидим возвращение экономического нацио-

нализма и ограничение движения капитала, что приведет к распаду крупных корпораций, господствующих в мировой экономике, и к еще более глубокому экономическому падению).

Наиболее перспективной представляется модель, которая находится в возрастающей фактической зависимости от этих корпораций; логика глобализации, в которой важнейшая роль отведена ТНК, не исчезла вместе с финансовой системой. В самой сердцевине неолиберализма всегда присутствовала некая неясность: относится ли его доктрина к рынкам или к гигантским компаниям? Это отнюдь не одно и то же: чем больше в том или ином секторе доминируют гигантские компании, тем меньше остается в нем от свободного рынка, в верности которому клянутся практически все современные политики. Конечно, между гигантскими компаниями возможна жесткая конкуренция, но она не является чисто рыночной. В самом деле, последняя предполагает наличие очень большого количества субъектов, ни один из которых не способен оказать решающее влияние на ценообразование, не говоря уже о прямом влиянии в политической сфере. В условиях чистого рынка каждый принимает существующие цены, но никто не формирует их. Тот тип стратегических действий, который характеризует современные финансовые рынки (например, игра на понижение), там попросту невозможен.

Уже в самом начале неолиберальной эпохи экономисты из Чикагского университета, который принято считать колыбелью неолиберальной идеологии, разработали новую доктрину конкуренции и монополий, вскоре повлиявшую на американских законодателей, подорвав старые принципы антимонопольного законодательства, на которых базировались американские (а также, в последнее время, европейские) законы о конкуренции. Согласно этой доктрине, для максимизации выгоды потребителя конкуренция совершенно необязательна. Иногда монополия, благодаря самому факту своего доминирования на рынке,

может предложить покупателям лучшую сделку, нежели множество конкурирующих между собой фирм.

Здесь не место детально разбирать достоинства этой идеи. Мы привели ее только для того, чтобы показать фундаментальную двойственность в неолиберальном мышлении при подходе к тому, что считается его базовыми характеристиками — к конкуренции и свободе выбора. Во время текущего банковского кризиса мы увидели по обе стороны Атлантики государственную поддержку и благословение властями слияний и поглощений, которые значительно снизили конкуренцию и возможности для выбора.

Финансовые рынки обрушились, когда фундаментальный критерий полного знания и прозрачности перестал работать в отношениях между банками. Если добавить к этому, что данный сектор характеризуют относительно низкая конкуренция и мощные гарантии со стороны государства на случай безответственного поведения, то мы получим потенциально серьезную проблему легитимности системы. В то же самое время, в случае если политическая структура страны не приведет к некоему подобию «датского» решения, нам придется положиться на финансовую систему в деле возрождения приватизированного кейнсианства для разрешения проблем во взаимоотношениях капитализма и демократии.

Первоначальной реакцией является возвращение к большему регулированию для компенсации снижения конкуренции и во избежание морального урона; и это именно то, что происходит сейчас. Однако совсем недавно мы уже были в этой ситуации. После скандалов с *Enron* и *World.com* в начале столетия, которые были — в ретроспективе — первым признаком того, что финансовые рынки не столь эффективны в саморегулировании, как утверждалось ранее, американский конгресс законом Сарбейнса—Оксли ужесточил требования к финансовой отчетности. Это сразу же вызвало недовольство финансового сектора, чья деятельность была затруднена, а также угрозы, что крупные финан-

совые компании переберутся в Лондон, где существовал режим большего благоприятствования.

То же самое произошло и после принятия правительствами ряд мер по регулированию финансового рынка в рамках плана по его спасению. Как бы рынок державиков мог начать свою работу по поддержанию высокого уровня заимствований, если бы он подчинялся правилам, которые в большинстве случаев усложняли получение займов? Точно так же низко- и среднеоплачиваемые незащищенные рабочие не смогли бы совершать постоянные траты, если бы не имели доступа к необеспеченным кредитам (пусть даже и не в таком безумном масштабе, который имел место). Далее, у нас будет финансовый сектор с меньшим числом крупных игроков, обладающих облегченным доступом к правительству, часто формируемым самим же правительством (как это было в ходе реализации мер по спасению финансового сектора в 2008 году). Предполагается, что большинство правительств, которые приобретали контрольные пакеты банков в ходе непредвиденной национализации, последовавшей за коллапсом октября 2008 года, не будут использовать их в соответствии со старой моделью контролирования «командных высот» в экономике: этому воспрепятствует тот факт, что крупные банки действуют на международном уровне. Однако точно так же маловероятно, что эти банки будут приватизированы через акционирование. Скорее всего, они будут переданы в руки небольшого количества существующих ведущих компаний, считающихся достаточно ответственными, чтобы управлять ими надлежащим образом. Произойдет существенный сдвиг к системе, которая будет в большей степени основываться на системе сознательного согласования и регулирования. Произойдет оправдываемый аргументами о необходимости проявлять гибкость и снять часть груза с плеч налогоплательщиков переход от актуального регулирования к принятию (труднопроверяемых) гарантий правильного поведения со стороны крупных финансовых компаний.

Для того чтобы предвидеть это, вовсе не нужен хрустальный шар: такова общая тенденция в отношениях между государством и компаниями во всей экономике. Разделяя неолиберальные предрассудки против правительства как такого, испуганные влиянием регулирования на рост, верящие в превосходство управляющих корпорациями над ними самими буквально во всем, политики все больше полагаются на социальную ответственность корпораций для достижения определенных политических целей. В британском правительстве имеется даже специальный министр, отвечающий за эту сферу деятельности.

Вряд ли это можно назвать сменой модели: это просто сдвиг от нерегулируемого приватизированного кейнсианства к саморегулирующемуся приватизированному кейнсианству. Но некоторые аспекты этого сдвига имеют далеко идущие последствия. Во-первых, система будет все меньше легитимизироваться в терминах рынка, свободы выбора и невмешательства государства. Скорее, будут иметь место партнерство между компаниями и правительством или автономные действия компаний, одобряемые правительством, сопровождаемые многочисленными неформальными попытками восстановить уверенность. Лозунгом скорее станет «большие компании — благо для тебя», нежели «рынок — благо для тебя». В некоторых отношениях это будет подобием неокорпоративизма, но с двумя важными отличиями. Во-первых, профсоюзы не будут иметь голоса (разве что чисто символически), поскольку на уровне международных финансов они не обладают ни силой, ни компетенцией. Во-вторых, не будет компаний, участвующих в корпоративистских сделках в качестве членов ассоциаций, дающих возможность играть по одинаковым для всех правилам. Сегодня гигантские компании не имеют времени для создания ассоциаций и, выстраивая отношения с государством, стремятся к чему угодно, только не к одинаковым для всех правилам. Новая модель «ответственных корпораций», однако, уподо-

бится корпоративизму в том, что будет ограничена уровнем национальных государств (возможно, также уровнем Европейского Союза), хотя компании останутся глобальными и сохранят возможность для перемещения в страны с лучшими для них условиями.

Во-вторых (что важно не столько в экономическом, сколько в политическом плане), эта модель усилит современные тенденции замены политической активности партий на политическую активность общественных организаций и социальных движений. Модель приведет компании к господству не в качестве лоббистов в правительстве, но в качестве творцов государственной политики (наряду с правительством или вместо него). Именно компании будут определять нормы своего поведения и практики, посредством которых будут брать на себя ответственность. Они тем самым станут самостоятельными политическими субъектами и объектами, положив конец четкому разделению между государством и частным бизнесом, которое было отличительной чертой как неолиберализма, так и социал-демократической политики. В то же самое время, когда правительства, сформированные на базе любых партий, вынуждены будут идти на сделки с компаниями, опасаясь при этом, что их страны могут стать менее привлекательными для капитала в случае выдвижения слишком больших требований, различия между партиями по основным экономическим вопросам станут еще меньше, чем сегодня. В партийной политике сохранится много такого, чем можно будет заниматься и дальше: распределение государственных расходов, вопросы мультикультурализма, безопасность. Исчезнет то, что ранее составляло сердцевину партийной политики, — базовая экономическая стратегия; надо сказать, впрочем, что в большинстве стран она исчезла уже несколько лет назад, хотя ее следы и обнаруживаются в риторике отдельных партий.

Показательно, что уже сейчас почти все крупные корпорации имеют интернет-сайты, на которых детально описывается то, как они представляют себе свои соци-

альные обязательства, и оценивается работа по их исполнению. Так как эта область остается закрытой для партийных конфликтов, она будет становиться все более важной в политике гражданского общества. Поскольку многие из этих групп имеют транснациональный характер, эта сфера их деятельности может получить преимущество еще и потому, что она не стеснена национальными рамками так, как партийная политика. Тем не менее эта политика будет неудовлетворительной, поскольку она, сохранив многие плохие привычки партий, будет лишена формального гражданского эгалитаризма выборной демократии. Группы активистов, так же как и партии, смогут привлекать к себе внимание, предъявляя завышенные требования к корпорациям, равно как и, наоборот, смыкаться с ними в обмен на какие-либо ресурсы. Эта борьба будет в высшей степени неравной. И это явно не тот режим, который ждали получить как неолибералы, так и социал-демократы, но это именно тот режим, который мы, скорее всего, получим, и именно он сможет в очередной раз примирить капитализм и демократическую политику.

Наши прогнозы относительно общественного развития основаны на экстраполяции сегодняшних тенденций. Нельзя ли добиться лучших результатов и заглянуть еще дальше в будущее? Довольно скоро глобальная экономика станет нуждаться в тратах (а не только в рабочей силе) миллиардов жителей Азии и Африки. Это потребует серьезных размышлений о перераспределении покупательной способности (а отнюдь не только о повышении цен на футболки) и совершенно новом мировом режиме. Что может стать причиной возникновения такого нового класса, напоминающего в конечном счете международный пролетариат Маркса? Возможно, не его собственные идеи — куда скорее это будет радикальный ислам. Это, впрочем, станет реальной политикой не ранее чем через 30 ближайших лет.

# Приватизированное кейнсианство корпорации и демократия

БЕСЕДА АРТЕМА СМИРНОВА  
С КОЛИНОМ КРАУЧЕМ\*

**Чем, по-Вашему, было вызвано появление кейнсианства в его первоначальной версии?**

Первоначальное кейнсианство возникло из опыта экономических депрессий и масштабной и продолжительной безработицы, которыми характеризовались межвоенные годы в капиталистическом мире. Джон Майнард Кейнс и некоторые шведские экономисты, мыслившие в схожем ключе и пришедшие к тем же выводам, считали, что эти депрессии были вызваны недостаточным спросом и что рынок не в состоянии был справиться с проблемой своими силами. Если потенциальным инвесторам казалось, что спрос был слабым, они просто отказывались инвестировать, что только усугубляло состояние экономики. Эти экономисты заявили, что правительство не должно сидеть и молча смотреть на происходящее: нужно было взять инициативу в свои руки и начать противодействовать кризису, увеличивая государственные расходы, когда спрос в частном секторе падал, и сокращая их, когда спрос возрастил и становился причиной инфляции. Во многих странах правительства в межвоенные годы были слишком слабыми, чтобы проводить политику, которую предлагал Кейнс. Но укрепление государства всеобщего благосостояния в скандинавских странах с середины 1930-х создало возможности для роста государ-

ственных расходов. В Британии Вторая мировая война и резкий рост военных расходов развязали правительству руки; после окончания войны правительство не оказалось от дефицитных расходов, которые теперь уже шли не на вооружение и содержание армии, а на создание государства всеобщего благосостояния. В разных странах история развивалась по-разному, но на протяжении первых тридцати послевоенных лет в капиталистическом мире существовал консенсус, что правительства должны использовать государственные расходы для защиты экономики от депрессии и инфляции.

Этот политический подход был тесно связан с ростом влияния рабочего класса в капиталистических странах. И на то были веские причины. Во-первых, рабочие больше всего страдали от экономической депрессии и безработицы. Во-вторых, они были главными получателями государственных расходов, а потому при введении новых программ расходов и налогов правительство всегда могло опереться на их поддержку. В-третьих, хотя кейнсианство было стратегией защиты или даже спасения капиталистической экономики, оно предусматривало активную роль правительства. А политика правительства была гораздо ближе к той, что пользовалась поддержкой социал-демократических партий и профсоюзов, чем к той, которую одобряло большинство буржуазных партий, хотя последние довольно быстро приспособились к новым условиям.

**Что же заставило правительства отказаться от такой, казалось бы, продуктивной политики?**

Эта история хорошо известна: их заставил пойти на это внезапный скачок цен на нефть и другое сырье в 1970-х. Инфляция, которую вызвал этот рост цен, требовала резкого сокращения, а не роста государственных расходов. Использовать для этого управление спросом было политически невозможно. Это был звездный час для критиков кейнсианства, веривших в превосходство свободных рынков без государ-

\* Пушкин. 2009. № 3.

ственного вмешательства. Люди с такими взглядами начали определять экономическую политику во многих странах. Важно иметь в виду, что их приход к власти стал возможен только благодаря тому, что тогда, в конце 1970-х — начале 1980-х, промышленные рабочие перестали составлять значительную часть населения (а большинством они не были никогда). Произошло сокращение их численности, начали появляться новые виды занятости, и у тех, кто был с ними связан, уже не было четких политических предпочтений. Тогда-то кейнсианство и оказалось в глубочайшем кризисе: его методы не работали, а его политическая поддержка испарилась. Идея государственного управления совокупным спросом уступила место подходу, ставшему известным как неолиберализм.

Внешне неолиберализм был довольно жесткой доктриной: единственным средством борьбы с рецессией и высокой безработицей считалось снижение заработной платы до тех пор, пока она не станет настолько низкой, что предприниматели начнут снова набирать работников, и цены станут настолько низкими, что люди начнут снова покупать товары и услуги. Здесь начинается самое интересное: не будем забывать, что современный капитализм зависит от расходов массы наемных работников, которые платят за товары и услуги. Как можно поддерживать спрос у людей, которые постоянно вынуждены жить в страхе лишиться работы и средств к существованию? И как вообще двум странам, наиболее последовательно проводившим неолиберальную политику, — Британии и США — удавалось поддерживать уверенность потребителей на протяжении целого десятилетия (1995–2005), когда неолиберализм достиг своего расцвета?

Ответ прост, хотя он долгое время не был очевиден: потребление наемных работников в этих странах не зависело от положения на рынке труда. У них появилась возможность брать кредиты на невероятно выгодных условиях. Этому способствовало два обстоятельства.

Во-первых, большинство семей в этих и многих других западных странах брали кредиты на покупку жилья, а цены на недвижимость год от года росли, создавая у заемщиков и кредиторов уверенность, что эти кредиты надежны. Во-вторых, банки и другие финансовые институты создали рынки так называемых производных ценных бумаг или деривативов, на которых продавались долги, а риски, связанные с кредитами, распределялись среди множества игроков. Вместе эти два процесса привели к тому, что стало возможно предоставлять все большие кредиты все менее состоятельным людям. Нечто подобное, хотя и в меньшем масштабе, имело место с долгами по кредитным картам. В конце концов выросла огромная гора ничем не подкрепленных долгов. Банки утратили доверие друг к другу, и наступил финансовый крах.

Так что неолиберализм не был такой уж жесткой доктриной, какой казался. Если кейнсианство поддерживало массовый спрос за счет государственного долга, то неолиберализм попал в зависимость от гораздо более хрупкой вещи: частных долгов миллионов относительно бедных граждан. Долги, необходимые для поддержки экономики, были приватизированы. Поэтому я и называю режим экономической политики, при котором мы жили последние пятнадцать лет, неолиберализмом, а приватизированным кейнсианством.

*Что будет дальше? Следует ли нам ожидать масштабной национализации или радикального deregулирования? Какой политico-экономический режим придет на смену приватизированному кейнсианству?*

Будем реалистами: предложения радикальных левых и правых не встретят поддержки избирателей, да и правительствам они неинтересны. Никто не собирается переходить к социализму, а поскольку для сохранения капитализма нужно иметь уверенных потребителей, то режим приватизированного кейнсианства сохранится, хотя и в преобразованном виде.

Распространенные страхи перед национализацией банков и крупных компаний едва ли оправдаются, так как в этом не заинтересованы ни правительство, ни сами банки. Скорее всего, ими будут управлять немногочисленные копрорации, признанные достаточно ответственными. Постепенно мы придем к более согласованной системе, основанной на добровольном регулировании и управляемой небольшим числом корпораций, поддерживающих тесные связи с правительством.

Здесь и гадать нечего: такова общая тенденция в отношениях государства и корпораций и кризис приведет лишь к ее усилению. Политики, разделяя неолиберальные предрассудки относительно государства как такого и считая, что руководство корпораций лучше знает, что нужно делать, все чаще будут опираться на корпоративную социальную ответственность в деле достижения определенных политических целей. Крупный бизнес бывает очень умен и знает, как отвлекать от себя внимание недовольных и отвергать выдвигаемые обвинения, действуя на опережение и, когда надо, договариваясь.

При таком режиме наверняка будет меньше разговоров о рынке, свободе выбора и ограничении участия государства в экономике. Скорее, между компаниями и правительством сложатся партнерские отношения. Главным лозунгом будет не «рынок — это благо», а «корporации — это благо».

#### *Какие это будет иметь политические последствия?*

Это, безусловно, приведет к росту влияния корпораций на политику: они будут выступать не столько в роли лоббистов, сколько в роли разработчиков государственной политики вместе с правительствами или даже вместо них. Корпорации выработают для себя соответствующие кодексы поведения и формы ответственности. Они станут едва ли не главными политическими субъектами. Партии, будь то правые или левые, вынуждены будут пойти на сделки с корпора-

циями, а различия между их экономическими программами и реальной политикой станут еще менее заметными, чем сейчас. В партийной политике сохранится много такого, чем можно будет заниматься и дальше: распределение государственных расходов, вопросы мультикультурализма, безопасность. Исчезнет то, что раньше составляло сердцевину партийной политики, — базовая экономическая стратегия; надо сказать, впрочем, что в большинстве стран она исчезла уже несколько лет назад, хотя ее следы и обнаруживаются в риторике отдельных партий.

Конечно, этот режим будет не по нраву ни неолибералам, ни социал-демократам, но именно этот режим мы, скорее всего, получим, и именно он сможет в очередной раз примирить капитализм и формально демократическую политику.

*Демократическую? На ум приходят слова американского политического ученого Чарльза Линдблома, сказанные им еще в 1976 году: «Крупные частные корпорации плохо вписываются в демократическую теорию. По правде говоря, они вообще в нее никак не вписываются».*

Что ж, согласен. Пять лет назад ровно об этом я написал книгу с красноречивым названием «Постдемократия». Конечно, это означает определенный отход от демократии и не вызывает большого восторга, но в конце концов выбор у нас невелик — либо ответственные корпорации, либо безответственные. Лучше иметь первые, а не вторые.

*Не имеем ли мы здесь дело с очередной версией «конца истории», на сей раз корпоративного?*

Конечно, нет. Это лишь идеальный тип будущего режима. Но сложность реальной жизни исключает возможность его чистого воплощения. Рано или поздно внутренние противоречия дадут о себе знать. У Гегеля был интересный персонаж — «крот истории». Он продолжает копать.

*Научное издание*  
Серия «Политическая теория»

КОЛИН КРАУЧ  
ПОСТДЕМОКРАТИЯ

*Главный редактор*  
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ

*Заведующая книжной редакцией*  
ЕЛЕНА БЕРЕЖНОВА

*Редактор*  
ЕЛЕНА МАКЕЕВА

*Художник*  
ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ

*Верстка*  
СЕРГЕЙ ЗИНОВЬЕВ

*Корректор*  
ЛЮБОВЬ АГАДУЛИНА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ  
125319, Москва, Кочновский проезд, д. 3  
Тел./факс: (495) 772-95-71

Подписано в печать 02.12.2009. Формат 84×108/32  
Гарнитура Minion Pro. Усл. печ. л. 10,1. Уч.-изд. л. 8,2  
Печать офсетная. Тираж 1000 экз.  
Изд. № 1093. Заказ № 822

Отпечатано в ГУП ППП  
«Типография „Наука“»  
121099, Москва,  
Шубинский пер., 6

ISBN 978-5-7598-0740-7



9 785759 807407